
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: ПОВЕСТЬ, ДРАМА, ОЧЕРК

Владимир Королев
(г. Смоленск)

ПЕРЕПРАВА — АД И СЛАВА
Главы из повести



Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

ФЛЯЖКА СИМОНОВА

Вскоре в гости к молодоженам приехал Алексей Мишин. Друг Царева, он тоже писал стихи, однако на хлеб зарабатывал, трудясь репортером на областном радио. К друзьям на свадьбу Мишин не попал, поскольку вынужден был в тот же день сопроводить первого секретаря обкома, решившего посмотреть, как идет по Западной Двине сплав леса из велижских дебрей в Витебск. Отлевитанив* передачу, Мишин тут же устремился в Речистое, чтоб наконец-то поздравить молодоженов.

Женя услала своего Алексея за снедью в магазин. Сама же, поставив на стол под одуваном самовар и блюдо с янтарным медом, стала потчевать гостя не только чайком, но и рассказом о том, кто был у них на торжестве и кого не было:

— С Анатолием мы всех, кого приглашали и кто постеснялся, потом обошли по дворам. Во-первых, это — фронтовики, во-вторых, хотела, чтоб папины друзья мой выбор оценили, а, в-третьих, они меня чаще дочкой, чем Женькой называли, а как дочка должна поступить? Вот то-то и оно!

Муж мой всем понравился, но они его все-таки чуть стеснялись — корреспондент! Единственный, кто бойко с ним вел разговор — дядя Саша Сухарев. Он командовал ротой в Донской дивизии, которая рядом с лизюковцами тоже обороняла Ярцево. В дивизию приезжали писатели Фадеев, Шолохов, Петров, Симонов, и комдив Кириллов привозил писателей на передний край именно в роту Сухарева.

Понятное дело, дядя Саша рассказал Анатолию, что Константин Михайлович Симонов не просто с ним общался, а, узнав, что Сухарев прошел через бои под Могилевом, где сам писатель уже 26 июня начал воевать, подарил ему фляжку с водкой. А фляжка эта спасет дяде Саше жизнь: под Сталинградом он, набрав воды из ручья, впадающего в Волгу, сделал глоток — и вдруг — сильный толчок в грудь, а фляжка — в сторону. Снайпер! Но пуля пробила сосуд только с одной стороны...

* Юрий Левитан — знаменитый советский радиодиктор.

— Слушай, Женечка, это же материал для радиоочерка! — Мишин сделал большой глоток чайного отвара.— Горячо! Познакомьте меня с этим дядечкой...

— Познакомим. Тем более он с поэтами любит общаться. Причем, по-серьезному.

О фляжке-спасительнице старший лейтенант Сухарев написал в «Красную звезду» с просьбой передать военкору газеты Симонову его треугольничек. В редакции это письмо легло в персональный мешок Константина Михайловича: автору стихотворения «Жди меня» свои откровения, поклоны и приветы слали воины всех фронтов, и, пока поэт находился в командировке, писем набиралось под самое горло в этой емкости. Ответить каждому адресату Симонов, понятное дело, не мог, а вот дяде Саше даже прислал стихотворение под названием «Фляга»! Оно было набрано редакционной машинисткой на отдельном листе, а в правом верхнем углу поэт «от руки» пожелал старшему лейтенанту Сухареву увидеть Победу.

Автограф Симонова дядя Саша хранил в паке с фронтовыми фотографиями, справками из госпиталей, благодарностями Верховного Главнокомандующего и орденскими книжками. И вот Александр Иванович бережно разгладил лист на краю дубового стола и поднял на нас глаза:

— Послушаете?

Письмо от самого Симонова! Конечно, обалдевшие, мы закивали головами.

*Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:
Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно еще с другим
Успеет подружиться.
Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,
И коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский,—
На два глотка вино
Ты раздели по-братски.
Один глоток отпей,
В земле чтоб мертвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.
Оставь глоток второй,
И прах, предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.
Чтоб в день победы смог
Как равный вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.*

— Женя, да ты даже успела выучить стихотворение. Молодец! Может, и мое что-нибудь когда-нибудь выучишь,— Мишин очень уважительно и мечтательно посмотрел на девушку.

— Симонов очень легко учится. Я половину его стихов знаю. Ты слушай, что

дальше было. Дядя Саша говорит: «Самая пора выпить за здоровье Константина Михайловича.— И достал фляжку, а в ней с боку — дырочка!

— Ту самую?

— Ту самую!

И они взялись переливать в эту алюминиевую посудину содержимое бутылки, которую мы принесли, а потом, как мальчишки, ловили стаканами струйку и чокались. Дядя Саша Анатолию говорит:

— Я газету твою читаю. Сев, картошка, лен, доярки — все это хорошо, а про фронтовиков — мало. Мало!

— Александр Иванович, пашут — сеют — строят — это же все фронтовики делают!

— Конечно, а кто за нас делать будет! Я сам пищекомбинат в райпотребсоюзе строю. И конфеты там будем делать, и колбасу, и лимонад. Сейчас бы вот Женечке лимонада в самый бы раз налить, а мы ей водяру капаем! Но будет и лимонад, будет! Жизнь будет слаще!

— А березовик у вас есть, дядя Саша?

— О, хорошо, что напомнила. Полная кадушка. Подай, пожалуйста, кринку.

В буфете на нижней полке стояли графин и два горлачика. Я вытащила графин.

— Однако культурная. Ну, уважь ты меня, дочка, дай все ж-таки кринку.

И дядя Саша раскачивающейся походкой двинул в холодную кладовку за квасом.

Толя, глядя ему вслед, сказал:

— Для такого мужика двести граммов — не выпивка. А его вон как колышет. Давай-ка будем собираться, пусть дядька отдохнет!

— А его всегда покачивает — у него ж обеих ног нет! Врачи гангрену проморгали...

Тут дядя Саша притащил горлач:

— После водки — самый нужный напиток. Ква-сок! Не просто квас, а квас плюс сок, получается «ква-сок»! Молоко — на третьем месте... Угощайся, Женечка!

И Анатолию: — Так я опять про газету — фронтовиков не обижайте. У тебя три ордена — ты там в редакции наш щит, а не эти приезжие щелкоперы. Да, война всем надоела — но нет правды о войне! Одних Симонова, Твардовского, Исаковского мало. Мало! Ты обо мне не пиши — о нас Борис Полевой написал. Хорошая, ха-арошая книга — «Повесть о настоящем человеке», согласен?

— Согласен.

— Ты о тесте своем, Иване Максимовиче, напиши. Чтоб судьба была видна! Наша судьба...

Анатолий на меня посмотрел.

— Ты Жене глаза не строй — уже построил: вижу, что пьян от того, что такая святая девка тебе досталась. Ты про ее батю напиши. Она сама не попросит, а я — прошу. Напишешь — фляжка твоя.

Толя по дороге обратно мне говорил:

— Я тоже фронт прошел, мне тоже чуть руку миномет не оторвал, но батя твой и его кореша,— они совсем другие люди! Другие. Они те, на ком русская жизнь держится!

Я его поцеловала.

БАЛЛАДА О КРОВИ

— Женя, а что это за чемодан такой у нас полтерассы занимает? — раздался голос Ивана Максимовича. Кириенков уже несколько минут стоял на крыльце, не решаясь прервать беседу. Тем более, дочка стих читала. Артистка! Но сейчас, кажется, можно было и встрянуть...

— Ой, папка! Алексей Викторович Мишин приехал. Специально, чтоб нас поздравить! — Женя горделиво повела плечами.

— И что, чемодан колбасы привез?

— Иван Максимович, колбаса в рюкзаке, а чемодан — и не чемодан вовсе. Это магнитофон, там вам привет от Туликова.— Мишин пошел к крыльцу, чтоб пожать руку хозяину.

— Заходи в дом... Туликов — это хорошо. Давно мы с ним рюмку не поднимали. Так ты, выходит, его проведаль?

Семен Семенович Туликов, можно сказать, квадратно оправдывал свое прозвище. Во-первых, благодаря говорящей фамилии, во-вторых, в Туле он родился и вырос. В сороковом сразу после окончания педучилища его призвали в армию, а на Соловьеву переправу он пришел уже со звездой младшего политрук на рукаве.

— Рано утром открываю люк, лезу из танка, глядь — а у меня на броне политрук спит! — вспоминал Иван Максимович свое знакомство с Туликовым.— Спать, спит, но — весь наготове, тут же встрепенулся. Я говорю: «Извиняйте, товарищ политрук, мне за командиром ехать надо, а вы, пока темно, переправляйтесь на ту сторону». А он мне: «Я переправляться не буду. Надоело отступать. Вези меня к командиру». Политрук не расставался с винтовкой, и это Лизюкову понравилось: туляки — отменные солдаты! И, знаешь, Лизюков тут же, в пять утра, назначил Туликова комиссаром переправы. Чутье на людей у Александра Ивановича было как ни у кого! 27 августа немцы захватят переправу, но Лизюков и Туликов сбросят их в Днепр. Вот где политруку его винтовочка со штыком помогла! А вообще-то он кровь ненавидел: когда детей переправляли — следил за тем, чтобы мамки и учительницы с воспитательницами им глаза завязывали, бинты раздавал, лишь бы не видели дети кровавой мешанины на досках понтонов, кусков мяса, обрубков тел человеческих. Я б себе тоже глаза завязал, если бы танком управлять не надо было! То ли первого, то ли второго августа Туликова ранило в ноги, мы едва успели его определить на последнюю санитарную полуторку.

А нашелся политрук лет через десять: в областной газете Женька прочитала заметку о том, что учитель Соловьевской школы С. С. Туликов просит всех, кто воевал в сорок первом году на переправе, прислать для школьного уголка боевой славы свои воспоминания. Она показала газету отцу — и тот вскинулся: «Тула, Тула, Тула, я! Разрази меня гроза, он!» Оказалось, что Семен Семенович оставил квартиру в доме на улице Оружейной и перебрался на берег Днепра.

Когда они увиделись в Речистом, объяснил Семен Кириенкову в чем дело: «Иван, спать спокойно в Туле не мог. Чуть глаза смежу — и переправа как страшное кино начинается. За ночь раз восемь вставал. Покурю, ложусь — опять бойня. В сорок первом не боялся — в пятьдесят первом стал бояться! Жена на меня глядела-глядела — и повезла в Соловьево. Давай, мол, побудешь на своей переправе: и друзьям погибшим поклонись, и на душе полегчает... Приехали, поклонились, в школу зашли, а директор говорит: «Историю вот преподавать некому, молодая учительница замуж за пограничника вышла и уехала на заставу». Я: «А жить есть где?» — «Квартира при интернате». Жена все поняла и только руками развела: «Сама виновата: сама привезла!» Так что давай, Иван, приезжай в гости.

И Кириенков стал бывать в Соловьево. Обычно случалось это на Яблочный Спас. Иван Максимович набирал под одуваном два мешка дышащих золотым светом крутобоких плодов и звонил председателю райкома ДОСААФ:

— Заедь, майор, на минутку к Ворошиловскому стрелку.

Отставной майор Игнатов отказать Кириенкову не мог, поскольку сам был «шесть с половиной раз ранен» (за «ноль-пять» у Игнатова шла контузия). Он приезжал к Ивану Максимовичу на трофейном мотоцикле с коляской.— Не глуши! —

кричал Кириенков.— Я же говорил, что на минутку,— и тут же засовывал в чрево прицепа пузатый чувал.— Это — твоим мальчикам. А второй мешочек отвезем завтра на переправу? — Отвезем, отвечал майор и давал газку. На следующий день, обнимая мешок с яблоками, Иван Максимович восседал в коляске гоголем, и члены ДОСААФ Игнатов и Кириенков гнали в Соловьево; пыль за их мотоциклом долго не оседала, ее клубочки рассеивались нежнейшей августовской пудрой по крышам домов Клестова, Тетерина, Береснева, Зимца, Савина, Зуева, Топорова, Лисичина, Витязей и прочих деревень и сел, что связали свою христианскую судьбу с духовщинским впадающим в Старую Смоленскую дорогу большаком.

Туликов встречал боевых товарищей у парома через Днепр, жена его, статная и строгая Александра Васильевна, имея всегда плотный букет ромашек, делила его на четыре части, чтобы, пока дреднут на тросах массивно шел от берега к берегу, голубая-голубая вода реки могла получить из теплых ладоней фронтовиков самые главные, с солнышком посередине, цветы русского поля.

А нынче с Семен Семенычем случилась беда — в областном военном госпитале ему ампутировали кисть и предплечье левой руки. Первым, кто проведаль после операции политрука, оказался радиожурналист и поэт Алексей Мишин. «Тула — я, Тула — родина моя» был бледен и горд. Он даже улыбался, потому что три дня назад все могло закончиться не бедой, а многотрупной трагедией и режущими светлые лица матерей бороздами от потоков горьких-горьких слез.

...Семен Семенович после обеда направился в библиотеку полистать свежие московские журналы. Навстречу — Таня Куделина, пятиклассница:

— Семен Семенович, ребята в рощу понесли снаряд в костер бросать!

Учитель рванул к околице деревни, где над кронами лип и черемух, высаженных по краю противотанкового рва, вилял едва заметный дымок. И он успел столкнуть в овраг всех четверых любителей гахнуть, но, пихая последнего, поскользнулся — подвела лысая подошва сандалия.

— И хорошо, что поскользнулся,— оптимистично изрек Туликов,— получилось как под бомбежкой: вовремя залег. За клешню зацепило. А так бы по кусочкам меня и собирали бы. Ничего себе — сходил в библиотеку! — Мишин, рассказывая, старался передать мимику и самоироничность Семен Семеныча.

— Политрук он и есть политрук, это на всю жизнь.— Иван Максимович взглянул на корреспондента: — Согласен?

— Согласен.

— А что за привет у тебя в чемодане? Включи-ка свой этот... как его... патефон.

Магнитофон занял, считай, полстолешницы. Всего три или четыре секунды покрутились большие желтые бобины — и вдруг голосом Туликова они произнесли:

— Дорогой Иван Максимович! Очень рад, что ты отпраздновал свадьбу своей дочери. Поздравляю! Уверен, что Женя будет счастлива в семейной жизни, поскольку вышла замуж за фронтовика, а ты дал молодым свое благословение.

Что касается моего здоровья, то скоро вернусь в Соловьево. А как жить инвалидом — ребята из твоей подъяблочной команды научат, стаж однорукости-одноногости у вас приличный, так что готовьтесь передавать опыт. Думаю, что на 25 сентября, день освобождения Смоленщины, буду у тебя в Речистом, собирай народ. Времени спокойно подумать над своим поступком у меня нынче хватает, и я сейчас твердо говорю: знай заранее, что лишусь руки, но мальчишки останутся целы,— побежал бы в рощу еще быстрее. Да ради этих огольцов и жизни не жалко. Уж ты-то меня понимаешь! А горько мне сейчас только от того, что никто не смог таких же ребят под Вязьмой спасти. Историю эту тебе, если не слышал, Алексей Викторович расскажет. А лучше пусть прочтет свое стихотворение — и ты мою боль поймешь и разделишь.

Шуршащая лента унесла в самую глубь чемодана голос учителя-политрука. Мишин щелкнул выключателем и взялся за крышку магнитофона.

— А что случилось под Вязьмой? — Иван Максимович тяжело посмотрел на гостя.

— Шестеро школьников подорвались на mine. Младшему — семь лет, старшему — пятнадцать. Война. Чем от нее дальше — тем больней. Две недели назад это случилось, я там как раз в командировке был.

Кириенков посмотрел на дочь: — Видишь, что на нашем смоленском свете творится, а мы тут чай гоняем... Эх, Днепро-Днепро, Вязьма-Вязьма, Тула — я, Тула — родина моя!». Ладно, помянуть деток надо и за здоровье Семена выпить.

Алексей достал из рюкзака снедь и бутылку «Столичной», Иван Максимович сходил в чулан за холодцом, Женя, вытерев уголком рушника влагу под потускневшими глазами, распахнула буфет, и на освобожденном от говорящего туликовским голосом ящика столе появились рюмки, тарелка с хлебом, огурцы, миска с мочеными яблоками.

— Как твое стихотворение называется, Алексей Викторович?

— Баллада о крови.

— Мы слушаем тебя.

— Не могу я вслух... Простите. Вот у меня с собой есть машинописный текст, четыре копии. Пожалуйста, два листочка, возьмите... Может, сами...

— Ты Семену читал?

— Читал.

— Ты слышал, что политрук по этому, как его ... патефону сказал?

Мишин взглянул на Женю. А она, ничего не говоря, одним движением поменяла отцу и гостю рюмки на граненые стаканы.

— Вот это по-нашему! — притопнул протезным башмаком Иван Максимович.— По полному!

Алексей вспомнил свою поездку с вяземским военкомом на братскую могилу школьников и венки на свежем холмике с надписями на лентах: «От второго класса «А», «От четвертого класса «Б», «От пятого...», «От...», тут же всплыло госпитальное лицо Туликова и его жгуче сожалеющие слова: «Никто не смог ребяток спасти, никто» — и выдохнул:

— Слушайте!

*Мальчишки, милые мальчишки,
Судьба до доньшика видна...
Обманно летнее затишье
И по лесам, и в поле льна
Еще пожар войны пылает,
Он душу всю мою изгрыз.
И до сих пор подстерегает
И убивает нас фашизм:
Стальной заржавленной рубашкой
Или тротиловой волной
Над луговой кудрявой кашкой,
Над тихой вольностью лесной.
...Вас было шестеро.
По маю шагали солнечно, тепло,
Спугнув пернатых диких стаю,
Брели, веснуя, за село,
А на пути костер пылает,
И поле Памяти плывет,
Никто из вас еще не знает,
Куда костлявая ведет...
Ах, эти шустрые мальчишки!*

*Уйдя от ангельских квартир,
Забыв и удочки, и книжки,
В последний раз глядят на мир.
Рванулось пламя к поднебесью,
Снаряд — вразнос...
И тело жжжет...
Никто из вас уж не воскреснет,
По росным травам не пройдет,
Не запоет над отчей далью...
Земля ужасна, видит Бог,
Она напичкана так сталью,
Как кашей гречневой пирог.
Мелькали праздно дни победы...
Но песни рано петь в полях,
Пока уходят внуки к дедам,
Когда-то павшим здесь в боях.
И кровь сливается с их кровью,
Восходят свежие холмы...
Не воскресить их хлебной новью,
Ни далью росной тишины!
Кукушка в память их кукует,
Над ними веют ветерки...
Который год мой край воюет,
И гибнут, гибнут земляки.*

ЗЯТЬ БЕЗНОГО СОЛДАТА

На десятилетие Победы в сад Кириенковых собрались не все.

Зимой прямо у наковальни лопнуло сердце у дяди Толи Кузнецова. Но какую память оставил! Сразу после Нового 1955 года он начал изготавливать для друзей подковы, чтобы 23 февраля подарить на счастье на всю оставшуюся жизнь. Успел, только вот сам до двадцать третьего не дожил. На поминках сын Кузнецова, Виктор, раздавал подковы. Елена Ивановна, вдова, при всей кувалдовой тяжести горя, напомнила сыну: «Кириенковым — две штуки: Ивану Максимовичу, само собой, и Жене с Анатолием».

Не приехали в сад Егоренковы: 1 мая Анна родила Степану Ильичу сына Кольку, и, понятное дело, тема для разговора о-го-го какая появилась, тем более их Женька, третьеклассница, уже в пионерском галстуке (только что приняли!), от родителей открытку принесла с поздравлениями всему застолью.

— Лукаш, где твой картуз?

— А вон, на сучке висит.

Иван Максимович, не успевший на этот раз отстегнуть протез, зашагал к яблоне.

— Мог бы голову и побольше иметь, а, Лукаш? — Оценивая нутро и размер картуза, ехидничал Кириенков.— Так, на приданое имеющему неделю отроду, будущему защитнику Отечества, Николаю Степановичу Егоренкову, по червонцу сбросимся?

И шапка полетела по кругу.

Анатолий достал из портфеля плитку шоколада «Золотой ярлык». Евгения кивнула: — Ты Женечке? Отдавай, отдавай поскорей!

Царевы тоже ждали прибавления, и Анатолий каждый день старался чем-то побаловать жену. Вот ребята из областной газеты ему с оказией недавно даже мандаринов прислали: в Смоленске на рынке все есть!

Звенел в небе жаворонок, и Анатолию захотелось, чтобы песенка зазвучала погромче. Больно высоко птах забрался, спустись пониже, птица!

— Тебя! — Евгения прикоснулась к мужу локотком и кивнула в сторону торца стола.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться? Сухарев, представитель сообщества фронтовиков, выживших после Соловьевой и других переправ!

Анатолий встал.

— Я тут ребятам 23 февраля проговорился, что тебя как литературного работника об одном дельце просил. Сегодня 9 Мая.— Александр Иванович постучал кончиком ножа по фляжке, которую только что отстегнул от пояса.— Мужики, тише, поэты тишину любят!

У Царева что-то трепыхнулось под левой подмышкой: читать или не читать; а вдруг обидятся... Но тут кивнула Жена: «Давай, Толя!»

Жена сидела, сцепив руки под круглой горкой живота, и Анатолий понял: все, что он сейчас скажет, услышит и их дитя.

— Дорогие боевые друзья! Я много испортил бумаги, чтобы выполнить задачу, поставленную Александром Ивановичем. Стихи получались, а души в них такой, как, скажем, у Константина Михайловича Симонова не чувствовалось. Ну не чувствовалось — и все! А без души нельзя. Нечестно. И тут мне помог Алексей Бодренков из областной газеты: разрешил подарить вам святые строки:

*Я зять безногого солдата.
Он человек лишь до колен.
А ниже — дерево и вата.
Иль что там выдают взамен?
Сапер. В войну на минном поле
Чуть-чуть ошибся он — и вот
С той нестерпимо страшной болью
Уже который год живет.
Вот он (ему б сидеть на месте)
Идет, протезами скрипя.
Но я-то вижу: трудно тестю
Держать с достоинством себя.
Давным-давно он с поля боя,
Давно, казалось бы, привык.
Но я-то вижу: тестю больно,
И больно так, что в сердце крик.
Я вместе с ним переживаю
Все то, что сам он гонит прочь.
А как помочь ему, не знаю,
Хоть очень хочется помочь!
Как зять безногого солдата
И как участник той войны,
Я говорю: да будет свято
Вовеки царство тишины!*

— Максимыч, ты все понял? — Сухарев глядел на Кириенкова, тот тер глаза.— Что ты молчишь? Зять, у тебя талант и на войне был не зря!

Иван Максимович, сглотнув комок и, прокашлявшись, виновато попросил:

— Сынок, а еще разок можно?

Анатолий кивнул, хотя у него тоже першило в горле.

— погоди, капитан. Дай-ка я тебя обниму... Так, а теперь — горячее... Дырка-дыркой, а все ж-таки до половины я ее наполнять могу. Последний раз посудиной пользуюсь, отдаю ее тебе, капитан.— Александр Иванович плескал по стопкам водку из симоновской фляжки.— Дарю! — Сухарев снова обнял Царева.— Давай, читай по новой.

И Царев, поняв, что стихотворение принято, хотя и не он — его автор, волнуящимся голосом, отрубая ритм рукой с зажатой в ней флягой, признался:

*Я вместе с ним переживаю
Все то, что сам он гонит прочь.
А как помочь ему, не знаю,
Хоть очень хочется помочь!
Как зять безногого солдата
И как участник той войны,
Я говорю: да будет свято
Вовеки царство тишины!*

И зависла среди белого дня такая тишь, что стал уловим даже шорох прикосновения к траве приземляющихся яблоневых лепестков.

Потом кто-то кашлянул, и тут Сухарев заплодировал. Все спохватились и тоже захлопали: двурукие — в обе ладони, однорукие — ложками по краю столешницы.

Анатолий поднял стакашек:

— Спасибо! С Днем Победы! — и по кругу пошел, с каждым чокнулся, а перед тем, как осушить стопарь, поцеловал Евгению.

Пастух Левшунов крикнул:

— Водка, она только с виду горькая. На самом деле — сладкая.

Женя тоже захотела сделать глоток влаги, от которой у мужиков так засветились глаза и разгладились шрамы и морщины, но тут в чреве кто-то два раза толкнул ее ножкой: — Нельзя, нельзя! — Женя засмеялась и чмокнула мужа.

Вскочил Лукаш:

— Песню! «Артиллеристы»!

— Отбой! — тут же встал Сухарев. — Давайте-ка отложим «Артиллеристов» до следующего застолья. — И процитировал две крайних строчки стихотворения: «Я говорю: да будет свято / Вовеки царство тишины!» — Так что теперь давайте будем в царстве тишины!

Лукаш бросился на веранду, где подходил самовар.

— Петро, ты куда с одной рукой? Это же самовар, а не твоя шустрая Лушка, его не обнимешь!

Мгновенно спас обескураженного Лукаша Анатолий:

— А мы с Петром Егоровичем самовар одолеем в три руки! Я помогу...

Женя вынесла коробку с чайным сервизом. Его подарили Царевым на свадьбу члены литобъединения, но кто ж на свадьбе пьет чай! А вот на День Победы о голубых чашках вспомнили... И сильней, намного сильней закрубились лепестки одувана: чайный аромат и жгучий пар из медного душника так ударили снизу в крону, что жена попросила Анатолия оттащить самовар на более удаленный от ствола яблони край.

Поняв, что пришел его черед для тоста, встал Иван Максимович:

— Тяжело жить, а хочется. А будет легче? Будет. Не нам — нашим детям и внукам. Мы же ради них все эти переправы, начиная с Днепра и заканчивая Эльбой, прошли. Ну, а сегодня мне, скажу как на Духу, жить по новой захотелось — надо дожидаться, когда товарищ, что во-о-от там у Жени спрятан, сам стишок мне прочитает «Я — ВНУК безногого солдата!» Как, Анатолий, прочитает?

Царев взглянул на Женю — она горделиво и мечтательно улыбнулась ему, и Анатолий ринулся к Ивану Максимовичу. Гранитно, «камешком», ударив стакан о стакан, зять и тесть крепко-крепко обнялись.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Прошло сорок девять лет. В один из декабрьских вечеров 2014 года, отмеченных не нарастающей морозной страстью зимы, а муторной слякотью умирающей осени, ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Дмитриевичу Цареву стало не просто плохо, а хреново, даже, мягко говоря, очень хреново. Сердце уже месяц вело себя, честно сказать, корявенько, однако старик никому не жаловался, а глотал, в большем, правда, чем всегда количестве, пилюли — и терпел. Жаловаться Царев привычки не имел, наоборот, всю послевоенную жизнь проработав в газете, он сам помогал жалобщикам, а науке себя превозмогать Анатолий выучился еще на фронте. К примеру, однажды он часов пять пролежал в снегу на морозе, корректируя огонь минометного дивизиона — и ничего: морально-волевые качества не подвели, а обморожение оказалось, слава Богу, минимальным. Но одно дело терпеть, когда тебе девятнадцать и сердце живет боем, и другое — когда тебе под девяносто и обороты движка затухают, блекнут и вот-вот куда-то исчезнут, как случается это в конце мая с сизой яблоневою дымкой...

Сын Олег, Олег Анатольевич Царев, приехал как всегда поздно. Будучи главой администрации Соловьевского района, сегодня он заседал в областном центре в оргкомитете по подготовке празднования 70-летия Великой Победы, часть вопросов, в том числе и по созданию мемориала на переправе (точнее, уже по его финансированию), перенесли на следующий день, можно было бы остаться переночевать в городе-герое (у дочери, завуча гимназии, там трехкомнатная квартира), однако в голове сидело: «Батя дома один!» — и Олег вернулся в Соловьево. Полтора года назад ушла из жизни мать, Евгения Ивановна, ее сожрал рак, который зародился под шрамом на ладони, когда-то расшараханной немецким осколком, и Анатолий Дмитриевич сказал тогда: — «Женечка, дай срок, вот 70-летие Победы встречу — и сразу к тебе. Потерпи, пожалуйста».

Царев-младший, зная про настрой отца и веря, что эта доминанта держит его в тонусе и поможет Анатолию Дмитриевичу жить, чтоб дожидаться светлого юбилея, отодвигал порой на второй-третий планы злые текущие дела по районным коммунальному и агропрому и плотно работал в областном центре и столице — на Соловьевой переправе необходимо было создать мемориал памяти ста тысяч красноармейцев и командиров, павших здесь во имя спасения Москвы в сорок первом и Победы над врагом в сорок пятом! Такую задачу Олег поставил перед собой еще три года назад и сообщил об этом отцу, однако чиновный клан держал оборону: негромкий, но такой стратегический подвиг Соловьевой переправы в начале войны почти ничего не значил для имеющих доступ к казне столоначальников. Изучая историю Родины по выхолощенным в мутные девяностые годы учебникам и потому зная ее по верхам, они кривили физиономии: ну что такое это Соловьево, вот Сталинград, Севастополь, Курская дуга — это да, они всему миру известны, есть в конце концов федеральный комплекс памяти на Поклонной горе, так что деньги сегодня надо тратить на другое!

Олег, выросший на рассказах ветеранов, устоявших на колыхающихся бревнах переправ, наведенных на кровавых реках войны, по наущению деда избравший стезю офицера-пограничника, служивший в конце восьмидесятых начальником заставы, в трудную минуту такого непонимания взрывался и начинал читать в высоких кабинетах «Переправу» Александра Твардовского:

*И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...
И увиделось впервые,*

*Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...*

Это ведь написано о смоленских прежде всего событиях, о неизвестных героях, которые никогда так и не станут известными!

А известные — однорукие Лукаш и пастух Левшунов, политрук-учитель Тула — я, Тула — родина моя, ослепший Степан Ильич Егоренков, безногий мастер по изготовлению подков счастья Кузнецов, дорогой дедушка Иван Максимович Кириенков, все другие боевые товарищи деда и отца — их тоже уже нет на белом свете...

Стихи читать и при их помощи, в случае чего, убеждать в своей правоте людей, не понимающих душу русского человека-патриота, Олега, кстати, научил Иван Максимович, а не поэт-газетчик папка. Бывало, дедушка говаривал: «Давай, внук, давай. Но только — ударно. Ударно!» Бодренковское «Я зять безногого солдата» звучало в раннем детстве, в школьные же годы пришли Симонов, Наровчатов, Орлов и, конечно, Александр Трифонович Твардовский.

А последний раз Олег читал «Внука-зятя» Ивану Максимовичу в апреле семьдесят седьмого, когда перед тем, как отбыть на заставу, приехал домой — показаться в лейтенантских погонах. Дед позвал его с собой в березняк собрать там в алюминиевую сорокалитровую баклагу капающий в подвешенные к деревьям банки сок и, когда выбрались на желтую от пожухшей прошлогодней травы опушку рощи, сказал: «Отдохнем, товарищ лейтенант...» Олег сбросил бидон, расстегнул «молнию» на горловине спортивного костюма, развернул плечи: «Благодарь!»

— Давай, Олег Анатольевич...

— Ударно?

— Душевно. Не нарушая тишины.

Иван Максимович присел на ствол не пережившей зимы поваленной вербы, снял кепку. Солнце струило сквозь голые сучья охранявшей опушку березы ласковое тепло, лучи подняли на голове старика седой пух — и жесткое лицо его вдруг стало почти юным. Золотистый нимб, неяркие, но внимательные глаза, руки, устроенные на суровой ткани галифе, дед слушал!

...да будет свято

Вовеки царство тишины.

Олег произнес последние слова почти шепотом, не напрягая голосовых связок, но небо стало шершавым, и он отщипнул с еще живой ветки вербы похожую на шмеля ароматную почку, попробовал жевать. Но дед шевельнул ладонью, лежащей на колене протезной ноги: «А теперь — про «стриженных ребят...»

Переправа, переправа!

Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый

В море вынесла волна.

Во имя памяти тех «стриженных ребят» и во имя увидевших свет Победы и поднявших ее флаг над Берлином деда и его славных друзей, отца, каждый новый год живущего ожиданием только 9 Мая, надо, надо создать мемориал!

И лед непонимания треснул, а потом и тронулся. После настойчивых обращений Царева в администрацию области в Соловьево приехал губернатор, не спеша прошел по берегам Днепра, уставленным серыми обелисками, взглянул на скромный постамент, где застыли реактивные минометы «катюши», защищавшие переправу, побывал в двух музеях, деревенском и районном, — и проникся: «Надо зажигать Вечный огонь!» Кардинальное решение наконец-то было принято, и завтра, после второго заседания оргкомитета, должны были завертеться и маховики механизма, обязывающего изыскателей, проектировщиков, художников, строителей, газовиков и прочих

специалистов приняться за реализацию сооружения памятника героям Соловьевой переправы.

Тридцать семь лет отсчитало время после кончины Ивана Максимовича, и Олег, придвинув стул к изголовью отцовского дивана, решил, что рассказ о том походе за березовым соком с дедом, дождавшимся тогда праздника Победы, хоть немного утешит страдания Анатолия Дмитриевича в этот поздний вечер. Однако Царев-старший, только что согласившийся выпить чаю, вдруг прохрипел: «Скорую!» — и потерял сознание.

Через считанные минуты у тела отца суетилась хрупкая женщина-врач. Ольга Владимировна проверяла пульс на сонных артериях, поднимала веки, изучая зрачки, и, готовясь сделать укол, изрекла:

— Спасти Анатолия Дмитриевича можете только вы, Олег Анатольевич! В районной больнице у нас нет нужного оборудования, до областной доехать не успеем. Вы сильный, сделайте сердечно-легочную реанимацию!

— Закрытый массаж сердца?

— Да! Откиньте ему голову! Давите на грудину. Ритмично двигайте ее к позвоночнику. Да надавливайте же, что вы медлите, атакуйте, вы же офицер!

Слово «офицер» стегануло по мозгам, обязывая вспомнить практические занятия на манекенах: седой военврач, лекарь, которого между собой они называли Белокурым, твердил им, легкомысленным курсантам: «Вы — будущие командиры! Так учитесь не только командовать людьми, но и спасать их. Нет боя — есть ЧП всякие, нет раны — есть аффиксия, аритмия, за сердце надо бороться всегда! Дышите рот в рот, в вашем выдохе — шестнадцать процентов кислорода. Живительного в эту секунду кислорода!

Ольга Владимировна с удовлетворением наблюдала: оказывается, глава района — профессиональный спасатель, он методичен и неутомим. Но насколько его хватит, вон рубашку уже можно выкручивать!

— В крайнем случае, ударьте кулаком в грудную клетку изо всех сил, ударьте так, как будто это враг! — воспаленный мозг напомнил Олегу еще одну рекомендацию Белокурого. Глава взглянул на докторшу:

— Бить?

— Бейте, — выдохнула врач.

— Прости, папа! — Три удара, которые нанес сын по костяку обмякшего тела, сокрушили бы медведя! Последний удар оказался, судя по хрусту сломанного ребра, наиболее сильным.

Ольга Владимировна, испугавшись, схватила Олега за руку:

— Остановитесь! Доктор, я не в аффекте, не бойтесь. Послушайте сердце!

Чудо? Да, чудо: сердце трепыхалось, пусть слабенько, но сигнал подало: хочу жить... хочу жить... хочу жить! Ага, еще рот — в рот, кислород, рот — в рот, кислород — и Анатолий Дмитриевич открыл глаза.

Спасен!

Едва заметная улыбка тронула лицо больного, он что-то прошептал. Врач нагнулась к нему, потом подняла глаза на Олега:

— Не пойму... что-то такое про ноги...

Олег почти прикоснулся щекой к губам отца. И услышал:

— Я зять безногого солдата...

— А я — внук! Давай-ка выздоравливать — Вечный огонь на Соловьевой переправе зажигать вам, товарищ фронтовик! Считайте, что это боевой приказ Ивана Максимовича.

— Выполню! — негромко, но четко сказал Анатолий Дмитриевич. — Такая боевая задача моему сердцу теперь по силам.



Лариса Семенищенкова
(г. Брянск)



«И НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА...»
(Драматургическая повесть о Ф. М. Достоевском,
литературе и русском театре)

Член Союза писателей России. Пишет пьесы, рассказы, сказки, сказки, стихи для детей. Автор книг: «Мой театр», «Анюта-Узорница», «Волшебный лес», «Вдохновение», «Услышать друг друга». Лауреат всероссийских и международных литературных премий, в том числе всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Пьеса «И не забуду никогда...» представляет художественную версию взаимоотношений великого писателя Ф. М. Достоевского и замечательной русской актрисы А. И. Шуберт. История их дружбы раскрывает плодотворность взаимной поддержки в процессе творческого служения литературе и театру.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Достоевский Федор Михайлович, писатель, 40 лет, 60 лет.

Шуберт Александра Ивановна, актриса, 34 года.

Яновский Степан Дмитриевич, муж А.И.Шуберт.

Достоевский Михаил Михайлович, брат Ф.М.Достоевского.

Мария Дмитриевна, жена Ф.М.Достоевского.

Щепкин Михаил Семенович, актер.

Григорьев Аполлон, критик, поэт.

Савина Мария Гавриловна, актриса.

Александр Андреевич, молодой человек, желающий стать актером.

Молодой человек, желающий стать литератором.

Художник, средних лет.

Наташа, Иван Петрович, герои романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Актеры, литераторы, обыватели.

Место действия: Петербург, Москва, Орел.

Время действия: 1860 г., 1861 г., 1863 г., 1879 г.

ОТРЫВОК ИЗ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

К а р т и н а п е р в а я

Март 1860 года.

Петербург.

*Гостиная в доме Александры Ивановны
Шуберт. Много цветов. Фортепиано. Полка с книгами.*

*В комнате несколько гостей: литераторы, критики.
Аполлон Григорьев с гитарой, перебирает струны.*

Г р и г о р ь е в (*переставая играть*). Жалко, жалко настоящее состояние нашего театра! Что за чепуху играют актеры! Весь дельный репертуар русской сцены упишется на одной страничке. Все остальное — хлам! (*Бьет по струнам.*)

О д и н и з г о с т е й. Публика не жалуется!

Г р и г о р ь е в. А мы с вами разве не публика? Должно же быть какое-то уважение к зрителю.

Д р у г о й. Но я считаю, что презирать русскую сцену нельзя. Согласен: ужаснейший вздор играли по большей части Мочалов, и Каратыгин, и Репина... Однако в этом вздоре сказывались большие, очень большие дарования.

Т р е т ь и й (*оторвавшись от чтения газеты*). А Асенкова, господа? Она и в водевилях была несравненна. По-моему, все зависит не от того, велика или мала роль, а как велик талант...

Г р и г о р ь е в. Вы рассуждаете о больших дарованиях, а средние и меньшие таланты? Были ли они вообще когда-нибудь оцениваемы по достоинству у нас? И не стали бы они значительнее в ином репертуаре? Сколько актеров незаслуженно забыто только потому, что они не сыграли в достойной пьесе! Что ни говорите, а виноваты в том писатели. В большом долгу наши литераторы перед русским театром.

П е р в ы й. Нельзя так утверждать обо всех. Вот вам — Островский.

Г р и г о р ь е в. Островский — да, для театра — явление. То, что сейчас нам нужно. Время так называемого искусства для искусства прошло. Жизнь требует решения вопросов, а кто, как не литераторы, — глашатаи великих истин и тайн жизни! Островский создает народный театр. Как раз об этом хочу написать статью.

*Входит Александра Ивановна Шуберт.
В руках у нее букет цветов, она ставит его в вазу.*

Ш у б е р т. О чем беседуете, господа?

О д и н и з г о с т е й. Продолжаем о театре.

Ш у б е р т. И что же?

Д р у г о й. Аполлон утверждает, что для вас, Александра Ивановна, куда полезнее было бы сыграть Марью Андреевну в «Бедной невесте» нашего уважаемого Островского, чем изображать постоянно жующую мышку в какой-нибудь глупой картинке с натуры.

Ш у б е р т. Вы все о том же...

Г р и г о р ь е в. Именно, несравненная Александра Ивановна, именно о том говорю, что пренебрежительное отношение наших писателей к театру непростительно, задолжали они вам, актерам. Разве я не прав?

Ш у б е р т (*вздыхнув*). Могу ответить, если вы готовы выслушать.

Г р и г о р ь е в. О, слушать вас всегда одно удовольствие. При звуках вашего голоса умолкает даже этот (*показывает на гитару*) волшебный инструмент.

Ш у б е р т. Хорошо, господа. Я хочу, наконец, ответить серьезно, ведь не в первый раз такой разговор... (*Помолчав.*) Вот послушайте. Я начинала в Петербурге, когда мне было 16 лет. Ролей всегда было много, традиций — никаких. Мы никогда не задумывались о том, хорошо ли, дурно ли то, что мы играем. Бывало, студенты вызывают, неистовствуют, как весело! Что значит серьезно относиться к искусству, я поняла, встретившись уже в Московском театре с Михаилом Семеновичем Щепкиным, а он любил повторять: для настоящего актера не бывает больших или маленьких ролей, к каждой роли нужно долго готовиться и трудиться постоянно, и сам был в этом примером. Из серьезного я выходила со Щепкиным в «Горе от ума» в роли

Лизы. Нас вызывали без конца. Но и в водевилях, к вашему сведению, господа, я не раз находилась наверху блаженства... А в мой первый бенефис играла, как вы называете, чепуху: «Соль супружества» с немецкого и «Провинциальную невесту» с французского... Такого успеха у меня никогда не было, поверьте. За те деньги я и купила вот это фортепиано да еще сочинения Пушкина и Гоголя... Эти пустяки, как вам угодно называть, хлам — наша жизнь, если хотите, наша школа, другой для актера нет... Поймите, голубчик Аполлон Александрович, мы не можем ждать, пока литераторы отдадут нам свои долги. Мы должны играть, а не играть для актера — все равно, что не дышать. И не будь в моем репертуаре этих пустяковых комедий, я, может быть, не мечтала бы сейчас о «Бедной невесте» Островского... А вот ведь еду в Москву с надеждой на серьезные роли и новый репертуар.

Григорьев (*перебивая*). А я вам этого делать не советую. Категорически.

Шуберт. Но почему?

Григорьев. Не понимаю, как можно оставить этот дом, уютные комнаты, друзей и отправиться в неизвестность.

Шуберт. Почему в неизвестность? Там тоже у меня друзья, а Михаил Семенович всегда говорил, что здесь, на громадной сцене Александринского, я теряюсь, а для Московского Малого я — сокровище! Он мой учитель, ему лучше знать мои возможности.

Григорьев. Да не сцена вам нужна, а домашний уют! И кто знает, как примут вас в Москве? Здесь публика готова носить вас на руках. Я сам вчера наблюдал, как какой-то студент от избытка чувств упал в обморок на балконе, и если б не его товарищи, так бы и вывалился в партер на головы сидящих. Вот было бы представление! (*Смеется.*)

Шуберт (*с улыбкой*). Вы опять шутите! Всем известно, что у нас в обморок падают только дамы в присутствии Аполлона Григорьева! Здесь мой успех не сравним с вашим. А если серьезно, то все уже решено.

Один из гостей. Послушайте, что пишет «Театральный вестник» (*читает*): «Петербургская драматическая труппа лишается одной из лучших своих артисток — госпожи Шуберт, переходящей на Московский театр. Считаю лишним говорить, что мы искренне жалеем об этой утрате. Чрезвычайно умная и симпатичная игра артистки всегда будет в памяти почитателей Александринского театра».

Григорьев. Как весело получается! Тут «все решено», а там — уж и простились навсегда! Ей-богу, нашим критикам только некрологи и удаются.

Другой из гостей. Действительно, что за тон?

Шуберт. Господа! И ваш тон не веселее. Вы должны понять: если я решила оставить дом, мужа, все-все, что радовало меня здесь и составляло мое счастье актрисы,— стало быть, есть на то причины. И вам хорошо известно, что с моей стороны это не каприз, не прихоть, а выстрадано мною...

Григорьев (*вздыхнув*). Зная ваш характер, Александра Ивановна, я уже с самого начала понял — здесь убеждения бесполезны. Но поддерживать ваше решение все же отказываюсь. Да и найдется ли тот, кто поддержит!

Шуберт. Меня понимает Достоевский.

Короткое молчание.

Григорьев. О! Достоевский, разумеется! Осмелюсь заметить, несравненная Александра Ивановна, что к советам Федора Михайловича прислушиваться, конечно, стоит, а для меня он и вовсе идеал. Но учтите, что жизнь его никак не может быть для вас примером. Тут образец того, как можно совсем о себе не помнить...

Шуберт. Уж не с вас ли мне взять пример? Так и вы на месте никогда не сидите.

Григорьев. Что вы, что вы! Мой жизненный опыт если и может кому пригодиться, то лишь в качестве урока. Честно признаться, тоже собираюсь... в Самару. Возле вас только и задержался. Да что толковать обо мне! Я — вечный странник, а если и засижусь где, то только в долговой яме... (*Помолчав.*) Вы все-таки женщина... (*Перебирает струны.*) А не спеть ли нам нашу любимую, господа? (*Начинает один, постепенно присоединяются остальные*):

*О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!..*

Шуберт (*грустно*). Как мне будет не хватать вас в Москве, нашего милого общества, этих вечеров...

Григорьев. Что ж, на это только повторю, что вас никто не принуждает. А, впрочем, не унывайте, и там тоже люди. Как говорит ваш Достоевский, жизнь везде жизнь, она — в нас самих. Прощайте, голубушка, Александра Ивановна. Бог в помощь вам! А мне пора. Обязательно приду вас провожать.

Один из гостей. Пожалуй, и нам пора расходиться. Хозяйке нужен отдых.

Шуберт. Благодарю вас, господа, что вы пришли в этот последний вечер. Жаль только, не было Достоевского. Хотя он обещал...

*Все прощаются, уходят.
Александра Ивановна подходит к фортепиано,
берет несколько аккордов, задумывается.
Входит Достоевский. Видно, что он торопился и очень взволнован.*

Шуберт (*замечая Достоевского*). Федор Михайлович!

Достоевский. Я вам помешал... Прошу меня простить, вы играли... Еще и опоздал...

Шуберт. Опоздали, но совсем не помешали. Я вас ждала сегодня, рада вам.

Достоевский. Благодарю за великодушие, Александра Ивановна! (*Осматривается.*) А... ваш муж? Он дома?

Шуберт (*несколько холодно*). Яновский на службе. В последнее время он не торопится домой.

Достоевский. Да, понимаю. (*После некоторого молчания.*) А как я рад, что вижу вас! Позвольте мне выразить мое восхищение вашей вчерашней игрой. Давно мне не приходилось переживать такого удивительного чувства... И представьте: пришел домой и тут же написал два листа нового романа, над которыми трудился уже три дня. Я и сегодня в каком-то странном волнении. Хочется работать. Потому и опоздал. Но так хотел вас видеть, что все-таки бросил все, и вот — здесь.

Шуберт (*улыбнувшись*). Теперь мне нужно благодарить вас за опоздание, так? (*Шутливо.*) Что ж, вы хотели видеть меня? Смотрите! Хорошо ли вам меня видно? Лучше вблизи или издали?

Достоевский. На все ваши вопросы отвечу одним: с тех пор, как мы познакомились, я вижу вас, Александра Ивановна, постоянно, везде и с любого расстояния. Такая вот мистика!

Шуберт. Быть всегда на виду не очень приятно, Федор Михайлович. Иногда хочется, чтоб вовсе не замечали.

Достоевский. Этого обещать не могу!

Шуберт. От вас и не требую, потому что сама люблю ваше общество.

Достоевский. Неужели это правда?

Шуберт. С вами очень легко разговаривать. Мне нравится, что вы как будто никогда не думаете, как сказать... Вот как сейчас.

Д о с т о е в с к и й. Да ведь мы еще и не говорили ни о чем, только начали. Расскажите мне подробности: кто сегодня был, что обсуждали.

Ш у б е р т. Был Григорьев. Опять уговаривал остаться.

Д о с т о е в с к и й. Уговорил?

Ш у б е р т. Конечно, нет. Ничего уже нельзя изменить. Я еду. Мои дети в Москве, живут пока у сестры Щепкина, она прекрасная женщина. Им не будет хуже, чем здесь, наоборот, теперь они будут дышать чистым воздухом.

Д о с т о е в с к и й. Да, да, я это очень понимаю и убежден, что вы поступаете правильно. Даже немножко завидую вам, как подумаю, что сам уж, наверное, навеки прикован к одному месту... А так бы и отправился вместе с вами.

Ш у б е р т. Вот и позавидовали! Слышал бы Аполлон Григорьев! *(Помолчав.)* Не от хорошей жизни я уезжаю, это вам известно. Скажу совсем откровенно. Меня не столько радует, сколько пугает переезд...

Д о с т о е в с к и й. Знаю, конечно, знаю... Просто не хотел сейчас напоминать вам о тяжелом. Смотрю на вас, люблюсь. Душа как будто отдыхает. Тяжелого и с меня хватает дома.

Ш у б е р т. Но для вас, как мне кажется, самое трудное уже позади...

Д о с т о е в с к и й. Как сказать... Все в жизни относительно, Александра Иванова, хотя, конечно, вы правы: десять лет ссыльной жизни — это страшный опыт.

Ш у б е р т. А знаете, когда я вижу вас, мне становится стыдно за себя. Думаю: вот человек, который перенес гораздо больше, а умеет радоваться жизни. Как у вас это получается?

Д о с т о е в с к и й. Получается не всегда. Часто я бываю угрюм и не весел. Но, когда много испытал, то начинаешь, действительно, по-особому ценить жизнь. Признаюсь вам: не однажды был я в таком отчаянии, что могло привести к крайнему решению. Но всякий раз... Как бы яснее сказать... Всякий раз судьба подавала мне добрый знак. Я много рассуждал об этом, думал... Мы не умеем читать знаки своей судьбы. На множество ликов жизни всегда есть один, указывающий на выход из тупика. Его-то и нужно разглядеть.

Ш у б е р т. Стало быть, вы умеете читать знаки судьбы?

Д о с т о е в с к и й. Нет, нет... Совсем нет. Лишь убедился, что добро и зло не уравновешены в жизни, добро куда сильнее. Иначе человек и не стал бы жить. Вот и вы нашли выход, ваше решение подтверждает мою мысль. Вы согласны со мной?

Ш у б е р т. Не знаю... Выход ли для меня то, что я уезжаю отсюда? *(Помолчав.)* Послушайте мою судьбу, Федор Михайлович, мне сейчас хочется говорить откровенно. Если, конечно, вам интересно...

Д о с т о е в с к и й. Зачем вы так сказали. Мне интересно все в вашей жизни. И вот еще что: когда расскажешь кому-нибудь или напишешь, как я это делаю, то вдруг и сам поймешь в себе то, о чем в другой раз и не подумал бы. Еще и легче станет, потому что невысказанное всегда тяжело.

Ш у б е р т. Это правда... Я расскажу вам. *(Помолчав.)* Горько сознавать, Федор Михайлович, что моя личная жизнь не удалась. Мой первый муж был не без таланта, но совершенно безвольный человек и не любил театра. Это был брак без любви, и когда Миша умер, я вышла замуж за Яновского, которого, как мне казалось, очень любила. Его и было за что любить... Командировка мужа на юг, в которой я путешествовала вместе с ним, многое раскрыло в нем для меня. Я видела в Степане Дмитриевиче честного человека. Он помог мне тогда увидеть и понять Россию... Помню, я вернулась в Петербург вся наэлектризованная увиденным, хотела жизнь свою посвятить исправлению нравов в России... Наивно, конечно! Но тогда я впервые решила оставить театр и идти по жизни рядом с мужем, во всем ему помогать... Теперь я хорошо понимаю, какая б это была ошибка! Писемский тогда правильно все понял и сказал мне: «Поступайте-ка на сцену, а уж Россию оставьте в покое!» Я много пере-

живала, но муж не разделил моих настроений и очень изменился. И началась моя каторжная жизнь дома, полная разочарования и непонимания. Оказалось, что Степан Дмитриевич любит почет, лесть, и когда ему улыбнулась карьера, окружил себя людьми ничтожными. Я начала противоречить, противоречий он не терпел... И особенно доставалось моим детям... Я стала все больше отдаляться от него. Бог послал мне добрых, бескорыстных друзей, но с ними мне приходилось встречаться тайно. Может быть, я бы вынесла все это, не я одна в таком положении дома... Но муж всегда был против театра, а я без сцены не могу. Вот и решилась. Выход ли это? Может быть, меня скорее надо обвинять за то, что ослушалась мужа, перед которым обязанности имею?

Д о с т о е в с к и й (*подходит к одному из букетов*). Как можно обвинять вас! Можно ли заставить этот бутон не раскрыться? Ведь это природа. Вы поступаете правильно, решившись изменить свою жизнь. У вас много хорошего будет еще впереди.

Ш у б е р т (*помолчав*). В добрую минуту я чувствую себя как птица, которая вот-вот вылетит из клетки. Так вдруг сладко защемит сердце... Ведь в Москве тоже мои друзья, что значит для меня один Михаил Семенович Щепкин! Я буду выходить на сцену с своим учителем, разве это не счастье для актрисы! Новый репертуар, новые роли...

Д о с т о е в с к и й. Вот-вот, это очень важно. Что за вздор вам приходится играть здесь! (*Берет со стола портрет Александры Ивановны.*) Я очень люблю этот ваш портрет. Вы здесь веселы, а в глазах какая-то грусть... Представляю, как пошла бы вам драматическая роль... (*Ставит портрет на место.*)

Ш у б е р т. Все друзья об этом говорят, но что же делать? Имею ли я возможность выбирать? Дружинин обещал переделать «Полиньку Сакс», да так и не сделал.

Д о с т о е в с к и й. Погодите, Александра Ивановна, дайте срок, сделаю специально для вас «Неточку Незванову». Как хороши вы будете в роли Неточки!

Ш у б е р т. Боюсь, что не справлюсь. И страшно хочется попробовать. Отношение к театру в Москве более серьезное. У нас положено всего три репетиции, а там и репетируют больше... Ах, Федор Михайлович, как было бы хорошо, если бы не наш разрыв с мужем... На сердце горький осадок. Отчего он меня не понимает?

Д о с т о е в с к и й. Хотите, я решительно поговорю со Степаном Дмитриевичем? Все ему скажу?

Ш у б е р т. Нет, нет, не стоит. Да ведь все сказано уже. Пока мы будем жить врозь, а там как-нибудь решится.

Д о с т о е в с к и й. Вам жить вместе нельзя, я это и в глаза ему бы сказал.

Ш у б е р т. Много зависит от того, как примут меня в Москве, как пойдет. Трудности, конечно, будут, я к ним готова. Покажу вам последнее письмо Щепкина, он тоже предупреждает... (*Ищет письмо, находит.*) Вот что пишет (*читает*): «На полученное мною ваше письмо, положила руку на сердце, я не могу дать никакого совета, потому что тут связаны и любовь к искусству, и служба, и семейные отношения, а это только семейно и может разрешиться. Действуйте, как укажет вам здравый рассудок и семейный совет... Но подумайте хорошенько. Здесь 45 актрис, и, как водится, все это подставляет друг другу ноги; грязь закулисная везде не пахнет розою...» (*Вздыхает.*)

Д о с т о е в с к и й (*помолчав*). Грязь есть везде, это правда... Но все зависит от того, что человек сам поставил себе целью. Скажу и я откровенно, как вы мне, хотя не хотел сегодня об этом... Жизнь моя, Александра Ивановна, тяжела, я глубоко несчастен. Главное — состояние Марии Дмитриевны. Переезд в Петербург оказался для нее подлинным несчастьем. Болезнь обострилась в нашем климате. Жена стала раздражительной, мнительной, ревнивой. Нет, я не хочу сказать плохо, я ее понимаю и люблю, наша любовь не иссякла, но она обернулась страшной мукой для обоих.

Глядя на ее угасание, я не могу отделаться от мысли, что я и есть главный виновник ее страданий, и для меня сейчас наш дом — это ад... Потому, может, ваши обстоятельства мне понятны как никому. И радуюсь, что вас ждут перемены. Они нужны для служения искусству, а это — цель великая, она и дает силы жить. Сужу опять же по себе. Когда сажусь писать, кажется — стены моей комнаты раздвигаются, что вырываюсь на воздух... Я думаю: мы с вами счастливее других, у кого нет этой цели.

Ш у б е р т. Да почему же она требует таких жертв от человека? Неужели нельзя и служить искусству, и быть вполне счастливым?

Д о с т о е в с к и й. Почему же? Наверное, бывает и такое, даже уверен, что именно у вас и должно быть так.

Ш у б е р т (*усмехнувшись*). Не похоже. Видно, не заслужила я счастливой судьбы.

Д о с т о е в с к и й. В вас много добра, а это важно. Вы очень умны, душа у вас симпатичная, характер ваш обаятельный. Вы всегда подходите к человеку с симпатией, в вас многие находят друга... Поддержка друзей каждому бывает необходима... По себе это знаю. Вот и я в вас нашел хорошего, доброго друга. Как по-вашему, это много или мало — найти друга?

Ш у б е р т. Конечно, немало. Не будь вас, я с ума бы сошла от всего, что происходит со мной. Тяжело и страшно становится, когда я одна и думаю о предстоящем. Как будто стою на пороге, и надо шагнуть в темноту. Трудно сделать шаг...

Д о с т о е в с к и й. Как сходно у нас, Александра Ивановна! Ведь и я тоже как будто на пороге. В Петербурге все для меня по-новому... Меня помнят как автора «Бедных людей», а сколько жизни с тех пор прошло! Я сам во многом не тот, и нужно начинать заново, хватит ли сил? Я болен, имею тяжелую, неизлечимую болезнь, вы знаете... Да что тут говорить! (*Помолчав.*) Признаюсь: когда становится на сердце скверно, открою да и почитаю Пушкина. Большая сила заключена в поэзии.

Александра Ивановна подходит к фортепиано, садится, берет аккорды.

Ш у б е р т. А я сыграю вам свою любимую пьесу. Музыка, как и стихи, вдохновляет думать о хорошем.

Играет. Достоевский подходит ближе.

Входит Яновский.

Александра Ивановна замечает его и прекращает игру.

При последующих репликах Достоевский пытается что-то сказать, но не успевает.

Я н о в с к и й (*Достоевскому*). Рад видеть вас, Федор Михайлович! (*Иронично, Александре Ивановне.*) Совсем не желал помешать вашему музицированию, прошу меня извинить, это вышло случайно. (*Обоим.*) Впрочем, прошу без церемоний. Вы можете продолжать, а мне удобнее удалиться, если вам угодно... Я сегодня устал, был трудный день.

Ш у б е р т. Позвольте лучше мне оставить вас. (*Встает, подходит к Достоевскому.*) Прощайте, Федор Михайлович, еще раз благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. Будете в Москве, заходите ко мне и помните, что я всегда вам рада, как самому хорошему другу. (*Уходит.*)

Д о с т о е в с к и й (*после некоторого молчания*). Степан Дмитриевич! Мы давно не виделись, я очень хотел с вами поговорить.

Я н о в с к и й. Захлопотался, дела. Впрочем, мои обстоятельства вам известны от моей супруги, и обсуждаются они, кажется, теперь повсеместно. Каждый встречный смотрит на меня, по меньшей мере, как на злодея, заключившего в темницу прекрасную Елену.

Д о с т о е в с к и й. Признаться, о ней мне и хотелось поговорить с вами.

Я н о в с к и й. Да? О прекрасной Елене?

Д о с т о е в с к и й. Вы, Степан Дмитриевич, хорошо меня понимаете. Я имею в виду Александру Ивановну.

Я н о в с к и й. Ах, да! Конечно, конечно! *(Помолчав.)* Что ж, извольте. Я и сам желал этого разговора, а если совсем откровенно, для того и зашел, как узнал, что вы здесь. Так как перед вами я не лицемерил никогда, то лучше сразу же и начну. Мое мнение по всем интересующим вас вопросам таково: назначение женщины — иметь семью и воспитывать детей. Она прежде всего должна быть матерью. А так как артистическая карьера несовместима с выполнением материнского долга, то, извините, я не склонен поддерживать эти самые артистические настроения моей жены. И убеждать меня думать по-другому бесполезно.

Д о с т о е в с к и й. Вы называете талант Александры Ивановны лишь настроением? Да ведь для нее занятие искусством — как есть и пить! Это же очевидно, это всем понятно! Разве вы сами не убедились в этом за многие годы вашей совместной жизни? Скажу и я правду: ваше намерение взять Александру Ивановну из театра я расцениваю не иначе, как какое-то странное упрямство, противоречащее вашему же благородству и достоинству.

Я н о в с к и й. Вот мое-то человеческое достоинство здесь и ставится ни во что. Живет же артистка Мичурина без театра? И другие? Играть можно и на домашнем театре, если очень захочется. Разве нет?

Д о с т о е в с к и й. Да как же не понимаете вы, что это значит отнять у человека воздух, свет, солнце? Неужели вы решаетесь на это?

Я н о в с к и й. Так что ж, если надо.

Д о с т о е в с к и й. Как — надо?! Кому надо?! Разве талант — не божий дар, дающий человеку право нести в мир красоту? А что б было в мире без красоты! Выходит, вы один хотите владеть тем, что предназначено для многих! Ведь в вашей власти такое сокровище, которым одному и владеть грешно, вот что я скажу!

Я н о в с к и й. Ну.. Федор Михайлович, сказали б вы так кому-нибудь другому... Но я вас понимаю. У вас свойство из частного случая тут же делать общий вывод. Потому что вы — литератор! Но, прошу вас, снизойдите до частного случая. Я — врач, по вашему литературному определению, видимо, маленький человек, но я тоже имею право на свое, маленькое счастье. Мне же и нужна лишь всего эта женщина, потому что я люблю ее. Кто, по какому праву, позвольте вас спросить, может отнять ее у меня, а главное, — вот этого никак не пойму — я сам должен отказываться от моего счастья? Нет, смысл такого великодушия, извините, мне недоступен. Такое только в романах может быть, да и то не во всяких... И где же ваше гуманное отношение, господин писатель, к маленькому человеку в этом случае, а?

Д о с т о е в с к и й. Если б знали вы, как согласен я с вами: каждый человек достоин... Но по этому же праву достойна счастья и жена ваша. А можете ли вы устроить свое счастье на ее страдании. Решитесь ли вы принять такую жертву?

Я н о в с к и й. Вот! Я так и предполагал — уж и о жертвах речь. С вашей стороны все логично. Только давайте вспомним: она сама не раз уходила из театра...

Д о с т о е в с к и й. Да. Это и были попытки уступить вам. Она, как благородная натура, хотела сделать вас счастливым. Что вы дали взамен ее жертвы? Вы ограждали ее от искусства, не принимали литераторов, запрещали ей встречаться с друзьями. Ее изматывали к тому же болезни, рождение детей... Вы не понимали ее состояния. Как обидно должно быть женщине, которая в трудную минуту находит поддержку стремлениям своим не у мужа своего, а у других людей.

Я н о в с к и й. Об этом именно, Федор Михайлович, я и хотел вас предупредить. Моя жена имеет свойство находить себе даже не просто друзей, а наставников, эдаких руководителей в жизни, одним из которых, кстати, до сих пор являлся ваш собрат по перу господин Писемский. Посмотрите-ка на этот факт с другой стороны:

каково мужу, когда жена идет за советом к так называемому советчику в чужой дом? Потому я и не приветствовал дружбу моей жены с этим господином и не желаю видеть его в моем доме.

Д о с т о е в с к и й. Да не вы ли сами в этом виноваты? Мне кажется, уже выходя за вас замуж, тем самым она доказала, что первым своим наставником выбрала вас. Это вы не оправдали ее выбора. Это, если хотите, и есть настоящее тиранство! Скажу уж и последнее: будь я на месте Александры Ивановны, и я бы послушался вас!

Я н о в с к и й. Что моя жена и сделала. (*Помолчав.*) Федор Михайлович, мы всегда были друзьями и привыкли говорить прямо. Зная вас как честного и искреннего человека, не обижаюсь на сказанное вами. И поэтому хочу вас опять же предупредить. Надо отдать должное господину Писемскому. Он умеет относиться к некоторым идеям и поступкам Александры Ивановны иронически, чем, на мой взгляд, и объясняется тот удивительный с точки зрения природы случай (отметим — редчайший случай!), что на протяжении многих лет они, действительно, остаются друзьями и не более. Ваша же пылкая натура мне известна. Вам ничего не стоит возвести самого обыкновенного человека в идеал да самому в это и уверовать. Помните: Александра Ивановна первой актрисой не будет никогда. Вся ее жизнь на театре больше состоит из неудач, осмелюсь вам напомнить, хотя она и предана этому искусству, может быть, посильнее других. Но посмотрите в глаза вашей излюбленной правде. Она и женщина-то самая обыкновенная. А если каждый вслед за вами будет уверять ее в ее необыкновенности, то не выйдет ли хуже?

Д о с т о е в с к и й (*берет со стола портрет Александры Ивановны*). На это, Степан Дмитриевич, скажу вам так... Никому, в том числе и нам с вами, не дано окончательно все знать о человеке. Еще раз повторю, что человек — самая большая тайна на свете. Сама же Александра Ивановна из тех, кто прежде всего видит лучшее в других, и в этом она пример для многих... А наша с нею дружба...

Я н о в с к и й (*забирает портрет у Достоевского и ставит его на место*). Прекрасно! Ваша дружба! А об ней, Федор Михайлович, вы подумали в этом случае, а? Каково женщине выслушивать закулисные намеки? Я уже не говорю о так называемых поклонниках, еще рьяных блюстителях нравственности благородных девиц, которым только и дело, что разносить сплетни по свету.

Д о с т о е в с к и й. От молвы не убежишь. Вы и сами, как изволили заметить вначале, сделали предметом повсеместного обсуждения. Я же всю жизнь по насмешкам живу. Александра Ивановна — актриса. Такова ее судьба, что всяк о ней будет судить, как вздумается. Здесь ничего уже нельзя поделать... Мы не всегда сами выбираем себе ремесло, чаще оно выбирает нас... Что же касается нашей дружбы, именно дружбы, то Александра Ивановна сама мне многое доверила и сделала мне честь, считая мое сердце достойным этой доверенности, и я горжусь этой доверенностью и хотел бы оправдать ее. Во всей этой семейной истории я симпатизирую больше ей, чем вам, и не скрываю этого. Простите, Степан Дмитриевич, таков уж я. Чувств и мыслей своих скрывать не умею. Более всего не хотел бы потерять вашу дружбу, но от слов своих не откажусь.

Я н о в с к и й. Не беспокойтесь. Не в первый раз проверяется наша дружба. В правдивости вашей я не сомневался никогда. А Александру Ивановну, к радости сочувствующим ей, я отпустил, к чему и говорить было. Завтра она уже — в Москве. Отпустил, но не отказался. Думаю, время покажет, кто прав из нас. И я больше чем уверен, что все кончится самым обыкновенным образом. И не придется ли во всей этой истории более жалеть вас, чем Александру Ивановну. И на этом нам, я думаю, самое время проститься.

Д о с т о е в с к и й. Прощайте, Степан Дмитриевич. В одном я с вами согласен: в жизни не все решается так, как мы желали бы.

Картина вторая

Невский проспект.

Ясный весенний день. Молодые люди, дамы, прочая гуляющая публика. Реплики.

Дамы.

Первая. Что за прелесть сегодня день! Как будто вовсе не было зимы.

Вторая. Погода специально для прогулки. И как я счастлива тем, что готово мое новое платье. Как вам нравится? Вы еще ничего не сказали...

Молодые люди.

Первый. Слышали, завтра уезжает в Москву Шуберт?

Второй. Да, мы все провожаем. Нужно будет прийти пораньше, чтобы попасть в первые ряды. Думаю, соберется много народу.

Третий. Говорят, ее не отпускает муж, ведет себя, как деспот, с ним у нее полный разрыв.

Первый. И роман с Достоевским.

Третий. Она из-за Достоевского и уходит от мужа. В Москве им легче будет встречаться.

Первый. Да и Достоевскому удобней: здесь ведь жена умирает.

Второй. В Шуберт влюбиться немудрено — хороша!..

Молодые люди.

Первый. Вы прочитали «Первую любовь» господина Тургенева?

Второй. Конечно, и уже спорили. Что ни говорите, а в повести много поэзии. А образ Зинаиды! Какая сила страсти, самоотречения в любви.

Первый. Думаю, если бы разыграть эту вещь на театре, Зинаиду могла бы сыграть Шуберт...

Дамы.

Первая. Вчера принесли «Библиотеку для чтения», я сразу начала читать «Первую любовь» Тургенева. И, верите ли, с трудом дочитала до конца. Совершенная безнравственность. Сын влюблен в Зинаиду, она — в его отца, которому годится в дочери!

Вторая. Совершенно с вами согласна. И какой пример молодым девушкам! Я от своей дочери тут же спрятала.

Дамы.

Первая. Дорогая! Что за нравы теперь! О литераторах уже не говорю. Где скромность, достоинство женщины? Ужасный разврат — эта новая повесть Тургенева!

Вторая. А посмотрите, что в жизни. Сколько суеты вокруг этой Шуберт! Ничего не хочу сказать о ее достоинствах как актрисы, но — поведение! По-моему, так: если муж против сцены, долг жены — тут же подчиниться, на то имеется и закон. И что же?

Первая. Да ведь у нее четверо детей! Какой пример подает им мать! К тому же имеет любовника!

Вторая. Вы о Достоевском?

Первая. Кто же этого не знает!
Третья. Маменька! Госпожа Шуберт имеет право на независимость!
Первая и вторая (*вместе*). Ах! Слышите ли вы?!

Картина третья

*В комнате Ф. М. Достоевского.
На столе разложены бумаги. Ф. М. Достоевский работает.
Входит молодой человек. Он выглядит довольно уверенно.*

Молодой человек. Федор Михайлович, позвольте войти? Вы назначили мне. Достоевский (*заметив*). Да, да, входите, я помню. Садитесь сюда.
Молодой человек. Могу ли я узнать ваше мнение о моем рассказе?
Достоевский (*медленно*). Я внимательно прочитал ваше сочинение... Мы с Михаилом Михайловичем хотели бы, чтобы в нашем журнале печатались молодые. Вот и Апполинария Сулова принесла свой рассказ, с интересом читаю...

Молодой человек. Наверное, я не вовремя?

Достоевский. Нет, с вами именно я очень желал поговорить. Прежде чем дать оценку вашему произведению, хотел спросить у вас, если позволите.

Молодой человек. С удовольствием отвечу!

Достоевский. Для меня важно, правильно ли я понял идею рассказа...

Молодой человек. Я слушаю.

Достоевский. Ваш герой решил оставить возлюбленную лишь потому, что она не разделяет его убеждений?

Молодой человек. Это так.

Достоевский. И он оставляет ее одну без средств к существованию и какой-либо помощи со стороны?

Молодой человек. Люди разных убеждений не могут быть вместе, это так ясно!

Достоевский. Я не говорю о любви, но ведь есть еще обязанности перед близкими нам людьми.

Молодой человек. Есть также обязанности перед человечеством, это нельзя сравнивать...

Достоевский. Но ведь эта женщина погибнет! И вы оправдываете героя?!

Молодой человек. Ради великой цели можно пожертвовать одной жизнью... В этом, действительно, состоит идея рассказа.

Достоевский (*в сильном волнении*). Так, так... Позвольте еще спросить... Предположим... Вот. Что если вам скажут, что завтра, именно завтра на всей земле установится царство всеобщего счастья, но для этого необходимо всего лишь... уничтожить единственного человека, и этим человеком окажется... (*подбирает слово*) ваша же мать, отец, дитя... Вы и тогда посчитаете эту жертву оправданной?

Молодой человек. Что ж. Стало быть, так нужно.

Достоевский. Интересно. Второй раз сегодня слышу это слово... А если этим человеком окажетесь вы сами? Или я, например? Что тогда?

Молодой человек. Я думаю, что мы именно как литераторы должны считать своей обязанностью перед человечеством...

Достоевский. Вот даже как? Тогда — мой последний вопрос. Согласитесь вы сами, лично, если вам предложат, быть и исполнителем такого жертвоприношения? Прошу вас, не торопитесь с ответом, подумайте хорошенько. Много зависит от вашего ответа!

Молодой человек (*лишь выдерживая паузу*). Я считаю, что это также входит в понятие долга.

Д о с т о е в с к и й (*медленно*). Я понял вас... Стало быть, вам лишь остается ждать приказа... (*Некоторое время молчит.*)

М о л о д о й ч е л о в е к (*прерывая молчание*). А... что же рассказ?

Д о с т о е в с к и й. Рассказ? Ах, да... У вас есть, конечно, задатки и, может быть, не малые. Но, я думаю, что ваши впечатления о жизни недостаточны еще, чтоб сделаться литератором... (*Резко.*) Да. Я бы советовал вам вовсе оставить занятия литературой.

М о л о д о й ч е л о в е к (*изумленно*). Как?! Но почему?! То есть... Я понял, что вы не берете в журнал моего рассказа?

Д о с т о е в с к и й (*волнуясь все больше*). Неужели вы не понимаете, что любовь к человеку, а не к отвлеченной идее составляет душу нашего творчества? Да что — литература! Как вы можете жить с такими идеалами?! И что, если вы выскажете их своим матерям или любящим вас женщинам? Есть ли у вас те, которых вы сами любите? Подумайте, стоит ли всеобщая гармония страданий человека, давшего вам жизнь?! Откуда вынесли вы всю эту чепуху?.. Ах, да, известно, откуда!

Молодой человек слушает в полном недоумении.

Постепенно отступает к дверям.

М о л о д о й ч е л о в е к (*с усиленным достоинством*). Я понял вас, Федор Михайлович, позвольте — мое сочинение.

Д о с т о е в с к и й (*подает рукопись*). Вот, возьмите. Но подождите... Я бы умолял вас не показывать это никому. Поймите: прежде, чем становиться писателем, нужно быть человеком.

М о л о д о й ч е л о в е к (*пожимает плечами*). Видимо, я должен поблагодарить вас, и позвольте мне теперь уйти (*уходит*).

Входит Михаил Достоевский.

М и х а и л. Что? Отчитал?

Ф е д о р. Нет, не то совсем. Нужно было, да я не умею сказать, когда нужно. Разволновался сам, а он, по-моему, так ничего и не понял. Меня беспокоит, что он ведь не один такой! Вчера на литературных чтениях убедился опять: из так называемых любителей словесности многие думают, как он. Вот где беда! И это молодежь! (*Стоит в глубокой задумчивости.*)... Как много сейчас в молодых сердцах ожесточения, неверия, какой-то дерзости... Мало сочувствия, а ведь без этого мир рушится... Роман, который я начал, будет о любви. Любви большой, полной самоотречения. Много страсти, ведущей к разрушению. И как восстановить человека?.. Пока знаю только, что хочу написать хорошо. Героев своих уже люблю; надеюсь, что под пером разовьется... Называться будет «Униженные и оскорбленные»...

М и х а и л (*после короткого молчания*). А я, зная твою жизнь и душу, уверен, что и в этом романе будет много добра. Теперь скажу только одно: «В добрый путь!»

Печатается с сокращениями.



Борис Григорьев
(г. Москва)

РАБЫ С ВОСТОКА
Советские военнопленные в Норвегии (1941—1945)
Главы очерка



Наш постоянный автор.

Моему отцу и его товарищам по немецкому плену в Норвегии посвящается.

7. Побегу

«Советско-русский военнопленный совершил побег в окрестностях Ставангера. Опасный преступник, который воровством попытается добыть себе гражданскую одежду. За оказание ему помощи и укрытие строгое наказание».

Вот такое объявление года было помещено в газете «Ставангер Афтенблад» 25 сентября 1941 г. Не прошло и нескольких дней с момента появления советских военнопленных в южной части Норвегии, как кто-то из них уже воспользовался случаем и сбежал. Как выяснили Скарстен и Стокке, им оказался 25-летний Амарбек Шакинов из лагеря в Суле, сбежавший во время работ неподалеку от Ставангера.

Шакинову не повезло: скоро в той же газете появилось сообщение о его поимке. Его нашли и задержали неподалеку от места побега в тот самый день, когда было сделано объявление в газете. Выдал ли его кто-то из местных жителей? Этому нам не дано узнать, пишут норвежские историки и выражают надежду, что соотечественники тут, скорее всего, были ни при чем. При неразберихе, которая наблюдалась в лагерной системе Норвегии в первые дни, немцы проявили «гуманность» — Шакинову сохранили жизнь. Но его случай был, вероятно, исключением из установившейся позже практики.

Несмотря на тщательную охрану, пленные умудрялись совершать побегу. Это естественно для всех заключенных, а при невыносимых унижительных условиях жизни в немецких лагерях — в особенности. Нередко побегу организовывались с совершением покушений на охранников, что было практически осуществимо, когда военнопленные находились за пределами лагеря. Поскольку побегу в любом случае карался смертной казнью, то убийство охранника ничего не прибавляло к участи пойманного. Поэтому многие советские военнопленные шли на это сознательно. Немцы видели в побегу непосредственную угрозу, поскольку сбежавшие могли организовать диверсионные партизанские отряды.

Из лагеря Фолькворд (Ставангер) было совершено довольно много побегу, потому что пленные во время различных работ имели возможность выйти на какое-то время из-под контроля охранников. Они решались на побегу, хотя хорошо знали, что в случае поимки их ждала смерть. Большинство побегу были неудачными, пишут Скарстен и Стокке, доказательством чего служат их учетные карточки с пометками о расстреле. Федор Шерстик и Василий Гонтовой из лагеря Санднес, совершившие побег 14 и 17 ноября 1942 года, были пойманы спустя несколько дней после побега,

расстреляны и похоронены на кладбище в Санде (Сула). Также пойманы и расстреляны были еще 2 беглеца из этого лагеря, одного из которых звали Григорий Пономаренко. Пойман и расстрелян был также Вальдемар Франкович Падороецкий, бежавший из госпиталя в Ставангере 3 апреля 1943 года.

Однажды в октябрьский вечер норвежцы, жившие неподалеку от лагеря, услышали оттуда какие-то шумы, крики и выстрелы. Они поднялись на чердак и через слуховое окно стали наблюдать следующую сцену (среди наблюдавших был Ларс Туднем, 10-летний мальчик):

Поблизости от дома, остановился грузовик. Из кузова прыгнули немецкие солдаты и погнались впереди себя, вдоль каменного вала, военнопленного. В руках он держал свернутый в рулон шерстяной ковер. Они дошли до перекрестка со следующим валом и остановились. Немцы приказали нескольким пленным развернуть ковер. Потом раздались выстрелы, и пленный упал на ковер. Испуганный Ларс, наблюдавший все это из-за вала, бросился домой и рассказал все родителям. Они решили проверить, и когда вышли из дома, то увидели, что немецкие охранники с несколькими пленными уже шли по направлению к лагерю. На носилках пленные несли завернутое в ковер тело своего товарища. Так закончилась очередная попытка бежать из лагеря.

Бывший офицер Михаил Болдырев и рядовой Леон Акимович за 5 дней до конца войны совершили побег из лагеря в Сумармюра. Условия в лагере были настолько невыносимы, что пленные, рискуя жизнью, все равно решились на побег. Благодаря норвежкам Нэнси Камиллы Кристиансен и Сигрид Паульсен, матерям 6—8 летних девочек Бьерг и Кари, с которыми пленным удалось познакомиться раньше, попытка завершилась удачно.

Болдырев, не имевший на родине ни одного живого родственника, хотел бы остаться в Норвегии, но ему, естественно, не разрешили. Перед отъездом на родину Л. Акимович подарил родителям Кари Паульсен две сделанные в лагере гитары. Михаил Болдырев оставил Бьерг красиво оформленный альбом, посвященный своей погибшей на фронте жене. В альбоме Кари Акимович записал: «Дорогая Каричка, моя дорогая малышка, я люблю тебя и люблюсь тобой. Я благодарен тебе за все и оставляю о себе память на долгие времена. Оставляю тебе глубокую благодарность и теплые пожелания. Я желаю всей твоей семье всего наилучшего в жизни... Я увидел свободу и большую любовь и симпатии к русскому народу. И везде нас, русских, норвежский народ встречает с большим почетом. Куда мы ни придем, везде чувствуем себя как дома. Когда нас за колючей проволокой мучили нацисты, мы получали большую помощь... Мы вас никогда не забудем. Мы, русские, хотим передать вам свою благодарность и пламенный ПРИВЕТ. На память от русского друга Леона моим дорогим детишкам Кари Гуннар и Сигрид. 2.6.45 г. Леонид Акимович».

Михаил Болдырев еще раз напомнил о себе из Советского Союза: семье Паульсен он выслал по почте икону с изображением девы Марии и младенца Иисуса. Икону как реликвию в семье хранят до сих пор.

Коре Георг Орешельд из Рейнли, коммуна Санднес, вспоминает, как к ним то ли в 1943, то ли в 1944 году пришли несколько военнопленных, бежавших то ли из лагеря Сумармюр, то ли из ближайшего Свиланда. Его родители знали, что помогать беглецам запрещено, но они снабдили их едой и посоветовали идти на юг в направлении Ультедала.

Скарстен и Стокке упоминают в своей книге еще один побег, совершенный двумя советскими военнопленными летом 1944 года из лагеря Сауда, коммуна Сауда, Северная губерния. Первое время они скрывались в хижине неподалеку от Фивельандснuten, а зимой нашли убежище в пещерах. Им удалось продержаться на свободе до последнего дня войны — вероятно, не без помощи норвежцев. Еще одному пленному из лагеря в Санде той же коммуны удалось бежать зимой, когда он был занят на

лесоповале. Нашли ли его немцы или ему удалось скрыться, историки выяснить не смогли.

Статистика показывает, что наибольшее число побегов падало на весну и лето, и большинство побегов совершали офицеры. Своего пика побеги достигли к 1943 году, т.е. когда пленные уже достаточно «вкусили» от лагерного режима.

Сразу после обнаружения побега немцы информировали о нем местное отделение службы безопасности (СД), та информировала соответствующий шталаг, обращалась к полицейским властям Норвегии и делала объявление в газете вермахта «Verordnungsblatt des Wehrmachtbefehlshabers in Norwegen» и в полицейской газете Норвегии. Помещенное в начале главы объявление в газете свидетельствовало о том, что немцы еще надеялись на содействие норвежцев, которые еще не узнали, как немцы обращались со своими узниками лагерей. Позже к услугам местных газет в подобных ситуациях они уже не прибегали.

Норвежская полиция также принимала участие в поиске сбежавших военнопленных. В сентябре 1942 года в розыскных ведомостях Тронхеймской полиции сообщалось о поимке пленного из лагеря Сула по имени Николай Банчин, 30.12.1912 г.р., номер военнопленного 99087-II-D. Ставангер отделяют от Тронхейма несколько сотен километров, что свидетельствует о том, как далеко Банчин смог уйти от своего лагеря – явно не без помощи норвежцев.

На базе изученных учетных карточек советских военнопленных Скарстен и Стокке вычислили, что примерно две трети сбежавших из лагерей пойманы не были. В чужой стране, в чужой языковой обстановке процент спасшихся нам представляется достаточно высоким. Он может объясняться только получением помощи со стороны местного населения.

Сбежавшим узникам в первую очередь нужна была гражданская одежда и еда. За всем этим он должен был либо обратиться к норвежцам, либо попытаться добыть необходимое кражей. Нильс Ульсен Тылкорстад помог бежавшему из лагеря Севланд и был арестован. Ему грозила смерть или концлагерь. В его районе оказался активный нацист Педерсен, который и «вытащил» Тылкорстада из тюрьмы. Но это был, конечно, не типичный случай*.

Фермер Сверре Ойестада однажды обнаружил у себя во дворе спрятавшегося советского военнопленного. Бедняга уже доходил от голода, и Сверре решил его сначала откормить, а потом уж решать, что с ним делать. Пленный поправился и стал помогать норвежцу по уходу за скотиной. Фермер не мог на него нарадоваться — до того ловким и смышленным оказался этот недобровольный батрак. Но все дело испортил сосед, который случайно обнаружил пленного. На всякий случай Сверре решил не рисковать и переправил пленного в другое место.

Поздней февральской ночью 1945 года в дверь фермера Ларса Шельбрейда в Биркеланде, Бьеркрейм, осторожно постучали. Хозяин открыл дверь и увидел на пороге соседа, который сказал, что требуется помощь сбежавшему русскому военнопленному Аркадию Бояринцеву из лагеря Форус. Бояринцев намеревался пешком пробраться в Швецию. Он прошел через весь город Санднес и каким-то счастливым образом не был замечен. Замерзшего и усталого его обнаружил в 3 милях юго-восточней Санднеса Ян Русланд. Он привел его в дом Сиквеландов, где бабушка Эллен в первую очередь дала ему поесть. Невероятно, что эта семья пошла на такой риск: тремя годами раньше их родственник Тургейр был расстрелян за попытку вместе с товарищами уйти Северным морем в Великобританию, а его отец Эллинг отсидел в немецкой кутузке полтора года.

С употреблением немецких, норвежских и русских слов, но главным образом на

* 30.3.1946 г. Педерсен был приговорен норвежскими властями к смертной казни. Помощь Тылкорстаду смягчающим его вину обстоятельством признана не было.

пальцах, Сиквеланды узнали о намерениях Бояринцева и его просьбе снабдить гражданской одеждой и хоть каким-то оружием. С имевшимся при нем ножом выходить на поединок с немцами было бесполезно. Оружием хозяева не располагали, а вот плащ, резиновые сапоги и еще кое-что из одежды погибшего Тургейра они дали. На ночь Бояринцева устроили в сарае, укутав его старыми коврами и сеном.

На семейном совете пришли к выводу, что лучше всего было укрыть Бояринцева подальше к востоку от Санднеса. В этих целях связались с семьей Хольмов. Хольмы отвели его к Сейландам, а оттуда он попал уже к Шельбрейдам. Шельбрейды приняли беглеца с расprostертыми объятями. Было решено после короткой отсидки проводить его дальше на восток, к шведской границе. При других обстоятельствах норвежцы решили держать Бояринцева у себя до конца войны. А пока его отвели в хижину, принадлежавшую жителю Санднеса Бернеру Хаугланду.

Хаугланд, приехав однажды из Санднеса, неожиданно обнаружил у себя в доме русского военнопленного. Позже было решено перевести Бояринцева в другую семью. Ему в километре от прежнего места отыскали теплую пещеру, в которую вела единственная тропинка — кругом были болота, лес и скалы. Он получил теплые вещи, примус и все необходимое и продержался там до конца войны. После войны, до репатриации, он некоторое время жил у Шельбрейдов на правах члена семьи.

В марте 1945 года Биргер Роструп случайно обнаружил в своем летнем домике двух русских военнопленных, бежавших, по всей видимости, либо из лагеря в Суле, либо в Санде. Они тоже пробирались на восток, в Швецию. Получив еду от норвежца, русские ушли. На прощание они оставили записку, из которой явствовало, что одного звали Егорушиным Анатолием, а другого Ивановым (записку расшифровали в 1970 году, когда некоторые детали текста выцвели и стали неразборчивыми). Они писали, что находиться в лагере больше не было мочи и что они во что бы то ни стало хотели добраться до своей любимой родины. Дальнейшая их судьба не известна, во всяком случае в транзитном лагере для репатриантов в Ватне Роструп их не обнаружил. По всей видимости, Иванову и Егорушину удалось добраться до Швеции, в которой после войны оказалось около 2.000 советских граждан, большая часть которых были военнопленными из немецких лагерей в Финляндии. Из норвежских лагерей, согласно некоторым данным, в Швецию удалось убежать только около 150 советским военнопленным.

Одним из таких «счастливицков», подобранных шведами 25 сентября 1944 года уже на своей территории, оказался узник из лагеря в Суле Медведев Симон Андреевич, 9.4.1919 г.р., житель Ульяновска, взятый в плен под Ново-Ржевом 17 июля 1941 года. Он бежал вместе с двумя другими товарищами. Перед шведской границей они разделились и дальше пробирались в Швецию поодиночке. Медведева накормили, обули-одели и передали в ведение криминальной полиции в Фалуне. 9 октября 1944 года он выехал поездом на родину. К этому времени шведы репатриировали в СССР около 900 бывших советских военнопленных, бежавших из немецких лагерей в Норвегии.

С побегами советских военнопленных связана еще одна история, требующая своего расследования. Это история о том, что многие русские военнопленные после побега связывали свою судьбу с норвежским сопротивлением. Сотрудник Милорга (военная организация норвежского сопротивления) Оскар Хасселькниппе и норвежский генерал Алекс Хаген свидетельствуют, что только в отделении Милорга в районе Бускерюда к концу войны были зарегистрированы около 30 бывших советских военнопленных.

Сделаем очевидный вывод: всем удачным побегам из лагерей советские военнопленные обязаны исключительно бескорыстной и самоотверженной помощи норвежцев.

8. Контакты с норвежцами*

Советский военнопленный Загит Маменков, сидевший в лагере в Ставангере, вернувшись после войны домой, рассказывал своей дочери, что в Европе нет народа более доброго и гостеприимного, нежели норвежцы.

Контакты с норвежцами, как правило, пленным запрещались. Аналогичные запреты на контакты с советскими военнопленными существовали и для норвежцев. Но полностью исключить их немцам не удавалось. Иногда сами условия работы позволяли пленным вступать в контакт с местным населением, иногда с риском наказания и даже жизни в контакт вступали сердобольные норвежцы, реже контакты происходили с разрешения немцев.

Трудно переоценить ту помощь, которую норвежцы за четыре года оказали нашим людям. Многие и многие пленные выжили только благодаря этой помощи, заключающейся в содействии побегам и укрытию бежавших из лагерей, поддержке едой, моральной поддержке, оказании внимания и сочувствия вообще. Норвежцами руководило чувство жалости и милосердия, протеста против безжалостного унижения людей, а также чувство единства и солидарности в борьбе с общим врагом.

Главными «снабженцами» военнопленных были норвежские мальчишки и девчонки. Это они с удивительной настойчивостью и последовательностью, часто вполне сознательно, игнорировали немецкие инструкции и несли пленным спасение от голода. С них и спрос был меньше. Хотя были не редки случаи, когда за передачу еды ребенком немцы наказывали его родителей. Без всякого преувеличения можно сказать, что норвежские мальчишки и девчонки спасли многим, очень многим нашим пленным жизнь. Они поддержали их морально и не дали огрубеть их душам.

Сольвейг Братланд из Ставангера, выросшая в семье с левыми убеждениями и с симпатией относившаяся к Советскому Союзу, установила контакт с военнопленным из лагеря Русенберг, Ставангер, по имени Николай и начала с ним своего рода переписку. Она подбрасывала ему через колючую проволоку письма и записки, в которых сообщала некоторые новости и передавала приветы. Однажды за этим занятием ее застал охранник. Некоторое время спустя к ней в дом пришли гестаповец с переводчиком. К счастью, Сольвейг попался «добрый» гестаповец, которого она сумела убедить в том, что переписка с военнопленным носила любовный характер и что русский парень ей просто понравился. Дело закончилось штрафом в размере 30 крон, но могло быть и хуже.

Сольвейг вместе с Вальборг Свенссон часто можно было видеть разъезжающей по окрестностям Ставангера на велосипедах. В багажниках и в рюкзаках у них всегда была еда, которую они развозили по окрестным лагерям Русенберг, Форус, Санде, Сума, Фолькворд и Ауствол. Если у Сольвейг дружок был русский, то у Вальборг — поляк. Кроме еды, девушки организовали среди знакомых и незнакомых сбор медикаментов, одежды, обуви и т.п., но главное, что они несли пленным, была их доброта, сочувствие и сострадание. Ко всему прочему они несли пленным правдивую информацию о том, что происходило в мире, на фронтах войны и дома у военнопленных. Для лучшего общения Сольвейг Братланд взяла уроки русского языка и к концу войны вполне свободно говорила по-русски. Это были настоящие подвижницы, а их подвижничество после войны было вознаграждено властями Норвегии.

За такие «проступки» немцы направляли норвежцев в концентрационный лагерь «Грини». Житель м. Агдер Карл Юхан Линдстранд 19 мая 1943 года был расстрелян немцами за передачу еды советским военнопленным, а его 30 односельчан заплати-

* Эта тема так или иначе уже была затронута нами в предыдущих главах. Она незримо проходит через все этапы страданий советских военнопленных, поэтому выделение отдельной главы автор рассматривает просто как дополнительный способ обратить на нее внимание читателя.

лись за свое милосердие тюремными сроками, причем половина их была отослана в концентрационные лагеря в Германии.

Скарстен и Стокке приводят такой эпизод из жизни лагеря Аустволль: однажды, когда у забора с колючей проволокой оказались целые толпы сочувствующих советским военнопленным норвежцев, администрация лагеря приказала применить для ее разгоны слезоточивый газ. Норвежец Картон Холанд, работавший вместе с советскими военнопленными из лагеря Форус по трудовой повинности, вспоминал, что «ненависть к немцам только увеличивалась, а солидарность к бедным пленным — возрастала».

Один из пленных в лагере Фолькворд под Ставангером ухаживал за кроликами и часто рвал траву рядом с оградой из колючей проволоки. Местные норвежцы заметили это и стали класть в траву пакеты с едой. Пакеты к удовольствию благотворителей регулярно изымались.

Лив Квернеланд было 15 лет, когда она начала общаться с пленными лагеря Фолькворд. Она жила рядом с дорогой, по которой они маршировали каждый день. Каждый раз, когда они подходили к ее дому, она открывала оконные гардины и махала им рукой. Пленные быстро привыкли к этой визуальной встрече и с нетерпением ее ждали. Однажды они проходили мимо дома с песней, и Лив открыла окно, села за пианино и стала аккомпанировать. Один из охранников увидел, как Лив приветствует пленных, подошел к окну и дал ей звонкую пощечину.

Лив не ограничилась моральной поддержкой и вместе со своими друзьями стала оставлять в канаве рядом с дорогой, по которой шли пленные, пакеты с едой. Особенно пленным понравились вафельные печенье. Иногда ее мать спрашивала, куда запропастились рукавицы или носки отца, и Лив говорила, что не знает. Знали об этом пленные, которым достались эти нужные вещи. В ответ пленные дарили ей свои поделки — игрушки, кольца, шкатулки и т.п. Однажды ей удалось передать в лагерь альбом, в который пленные написали ей стихи и украсили его своими безыскусными рисунками. Не мудрено, что один из пленных влюбился в девушку и затеял с ней переписку, которую она хранила в укромном местечке своей комнаты под потолком.

Другую девочку из Альтоны, Санднес, немцы застали за тем, как она бросала пленным еду через колючую проволоку. Они узнали имя ее отца, арестовали его и отправили в концлагерь в Германии, откуда он уже не вернулся.

Электрик Карл Эверстад, живший до войны в Германии, хорошо владел немецким языком и по контракту с немецкой администрацией часто заходил в лагерь Сумармюр и Фролькворд для ремонта электропроводки. К его визитам охрана настолько уже привыкла, что пропускала в лагерь без всяких вопросов. Пленные тоже привыкли к Карлу и всегда находились рядом с ним. Достаточно было ему оставить пакет с едой в укромном месте, как он уже находился в руках пленных. К «подкармливанию» пленных подключились и другие коллеги Карла. Потом Эверстад подключил к «работе» с военнопленными своих знакомых, которые стали снабжать пленных селедкой. Потом неутомимый электрик стал передавать заскорузшим от грязи пленным мыло. Затем он «перехватывал» военнопленных при следовании их на работу. Грузовик с ними часто останавливался перед пекарней, потому что охрана покупала там себе свежеспеченный хлеб. Пекарь был приятелем Карла Эверстада, и пока немцы находились внутри магазинчика, в грузовик с пленными летели картошка, овсянка, хлебные буханки и т.п.

Однажды Эверстад приехал со своим товарищем Туром Тувландом к воротам лагеря и обнаружил, что у въезда в лагерь застрял грузовик с военнопленными. Шофер нажимал на педаль газа, но колеса проворачивались, и грузовик не двигался с места. Тогда смысленный электрик предложил стоящему рядом охраннику скомандовать пленным вылезти из кузова и подтолкнуть застрявший грузовик:

— Зачем даром тратить драгоценный бензин, когда есть дармовая рабочая сила?

Охранник согласился. Военнопленные спрыгнули на землю и стали раскачивать машину. В то время как Эверстад отвлекал внимание охранника приятной беседой, Тур Тувланд делал вид, что вместе с пленными толкает грузовик, а на самом деле незаметно раздал пленным носки.

Жители Сумармюры тоже делали все возможное, чтобы подкормить отощавших военнопленных и на пути следования их к местам работы оставляли пакеты с едой. Редко пленные улучали момент и сами просили у норвежцев еду. Отказа им в этом никогда не было. Выше всего пленные ценили картошку. Один из пленных из благодарности поцеловал руку крестьянке Эгтебе. Та была очень тронута этим и всем рассказывала: «Русский поцеловал мне руку!»

Уле Енсен из этого же поселка снабжал пленных продуктами, когда те находились в выгребном туалете, устроенном немцами в непосредственной близости с его огородом. Он бросал передачу через забор, а находившиеся внутри туалета пленные ловко и незаметно от охраны ловили их руками. Однажды охранник заметил эту «транзакцию», вошел в туалет и стал обыскивать военнопленного. Ничего не обнаружив, он удалился, а военнопленный, справив свою нужду, помахал на прощанье Енсену банкой сардин. «Ну и фокусник!» — подумал про себя норвежец. Заметим, что У. Енсен был связан с норвежским сопротивлением, а потому сильно рисковал своими контактами с советскими военнопленными. В конце войны немцы все-таки засадили его в тюрьму, но Енсен остался в живых.

Общение норвежцев с пленными было затруднено языковым барьером: русские кое-как говорили по-немецки, и норвежцы, даже владеющие немецким, плохо их понимали. А по-норвежски пленные знали пару-тройку слов, и этого для полноценного общения, конечно, не хватало. Впрочем, иногда среди военнопленных попадались способные «лингвисты», которые неплохо выучивались немецкому и даже норвежскому языкам. Но это было редким исключением, как и случаи владения русским языком норвежцами.

Пленный Михаил Аренберг не мог забыть, как из Ставангера на велосипедах выезжали норвежские девчонки Братланд и Свенссон и подкарауливали пленных на дорогах, чтобы незаметно передать им кульки с едой. Сам Аренберг получил от них немецко-норвежский словарь и постепенно научился говорить по-норвежски. Немцы распространяли лживую информацию о том, что в лагерях вокруг Ставангера многие советские военнопленные завербовались в армию Власова. Аренберг через Братланд и Свенссон опровергал эту информация и говорил, что никто из его товарищей «влазовцем» быть не захотел.

Несмотря ни на что, молодость брала свое, и молодой парень из Сумармюра Сергей Гладышев влюбился в девушку из Люры по имени Элиса Турборг Аустротт. Они встретились после войны в транзитном лагере Вагне, клялись в любви, но после отъезда Сергея на родину никогда уже больше не встретились.

17-летний Хенрик Омдаль установил контакт с советскими военнопленными из Сумармюра на их рабочем месте. Он подкупал охранников яйцами, а пленным передавал большие порции зелени, муки и одежду. На собственном огороде зелени не хватало, и тогда Хенрик крал ее у соседей. Одежду он прятал в мешки с картошкой, которую пленные по заказу немецких властей выгружали из подвалов норвежских фермеров. Пленные входили в подвалы в рваной, а выходили оттуда в «новой» одежде. После войны он сознался соседям в своем «преступлении» и был прощен ими, когда те узнали истинную причину поступков Хенрика.

Пленные лагеря Сумармюр после заключения мира жили некоторое время в домах у норвежцев. Этот период оставил у них неизгладимые впечатления.

Альфред Гудесет часто видел марширующих мимо его дома советских военнопленных из лагеря Санде, Сула. Вместе с ними на работу шли иногда несколько вольнонаемных датчан. Датчане часто заходили в дом Гудесетов напиться воды и

отнести воды пленным. Однажды в дом зашли датчанин с военнопленным, и датчанин сообщил, что русский может сделать кольцо из пятиэревой монеты в обмен на еду. Альфред дал пленному монету и через 2 дня получил вполне приличное мужское кольцо, на котором были выгравированы пятиконечная звезда и год, 1942. Потом пленный сделал дамское кольцо с выгравированным на нем цветочком. Обе стороны были весьма довольны обменом, и двусторонние контакты продолжились.

Успех контактов норвежцев с военнопленными часто зависел от персонала администрации лагеря, от коменданта и охранников. И среди немцев были люди, которые смотрели на инструкции сквозь пальцы и разрешали норвежцам и своим подопечным вступать в обоюдные контакты. Выяснилась такая закономерность: чем моложе был немецкий солдат, тем милосерднее относился он к пленным. Один из охранников, бывший социал-демократ, в лагере Гимра (коммуна Сула) был чрезвычайно предупредителен ко всем попыткам норвежцев помочь пленным. Он предупреждал их специальным сигналом о том, можно ли приближаться к лагерю или, наоборот, существует опасность, например, присутствие в лагере гестаповцев. Однажды норвежцы не заметили сигнала «опасность» и, как обычно, явились в лагерь с едой и табаком. В результате охранник был наказан чисто в прусском стиле: с полной выкладкой его заставили совершить марш-бросок от лагеря до определенного населенного пункта и обратно. Норвежцы дождались его появления в укромном месте и пересадили его на велосипед. Так что часть пути немец преодолел без особого напряжения.

Впрочем, такие идиллические сцены из жизни оккупантов, норвежцев и военнопленных были редким исключением.

Гуннару Хейсену в 1943 году было 13 лет, когда ему удалось нелегально проникнуть в лагерь Ваулен, Ставангер. Лагерь, естественно, был окружен высоким забором из колючей проволоки и охранялся солдатами с двух угловых вышек, снабженных прожекторами. Проникнуть в лагерь можно было со стороны моря. Вооружившись «кусачками» и карманным фонариком и прихватив с собой тайком от уснувших родителей еду и табак, Гуннар глубокой ночью отправился к лагерю. Он прошел по мелководью в выбранное заранее место и пополз к забору. Там он залег и стал дожидаться смены охранников на сторожевых вышках. Улучив удобный момент, он сделал бросок и перекусил нижнюю кромку проволочного забора, который со стороны моря оказался не вкопанным в грунт. Потом, пользуясь паузами в работе прожекторов, он пробрался к одному барaku и вошел в незапертую дверь. В нос ударила неимоверная вонь, а потом его окружили призраки, оказавшиеся людьми. Еда и сигареты были розданы в мертвой тишине.

Гуннар несколько раз повторил свои визиты к военнопленным, пока его однажды не обнаружила охрана. Ему удалось избежать ареста и, пользуясь темнотой, улизнуть из лагеря. Правда, после этого ходить в лагерь он больше не отваживался.

А. Скарстен и М. Стокке помещают в своей книге десятки аналогичных эпизодов, свидетельствовавших о солидарности и заботливом отношении норвежцев к нашим пленным. И это только на материале двух южных губерний страны. В северной губернии Тромс дела обстояли значительно хуже: концентрация пленных в лагерях была намного выше, а помощь им извне от норвежцев в силу малой плотности населения была более редкой.

9. Необыкновенные приключения Алексея Лабутина и его товарищей

За малыми исключениями, нам почти ничего не известно о том, как складывались судьбы конкретных советских военнопленных в Норвегии. Благодаря норвежскому журналисту и писателю Бьерну Братбаку мы можем познакомиться с историей одного такого военнопленного, а заодно и с историей его товарищей по плену. Впрочем, история Лабутина является не очень типичной, особенно в первой ее части, и больше

похожа на придуманную. Но жизнь зачастую распоряжается человеком таким причудливым образом, который не придет в голову самому изобретательному фантасту.

«Знакомство» с Норвегией 19-летнего матроса Лабутина произошло 12 апреля 1943 года с борта подводной лодки К-21 («Катюша»), которой командовал тогда уже широко известный, благодаря атаке на немецкий линкор «Тирпиц», 36-летний капитан Н. А. Лунин.

3 апреля 1943 года К-21, с экипажем примерно 60 человек, среди которых находился вестовой и матрос камбуза Алексей Лабутин, вышла из базы в Полярном с приказом взять курс на норвежские воды в районе Серейсунна с целью обнаружения и уничтожения немецкого противолодочного корабля «Карл Гальстер». По некоторым сведениям, «немец» находился на ремонте в районе Киркенеса.

После неудачной охоты на «Карла Гальстера» Лунин взял курс на Анн-фиорд (район г.Харстад, губерния Тромс). В первой половине дня 12 апреля К-21 вышла в район западнее о-ва Сенья и обнаружила там несколько норвежских рыбацких баркасов. В то время как рыболовный катер «Хавегга» забирал на борт рыбу, неподалеку в море раздался взрыв. Первым в 500 м от катера подводную лодку обнаружил ее капитан Альфред Альвер. Предположив, что подлодка сделала предупредительный выстрел, Альвер скомандовал «стоп машина» и поднял флаг, демонстрируя: я норвежец. Лодка, между тем, шла на сближение, не прекращая огня на поражение. Она явно добивалась потопления «Хавегги».

Альвер, не покидая капитанского мостика, скомандовал своим людям занять места в спасательной шлюпке. А лодка все стреляла и стреляла, и все не попадала в цель. Наконец, один из снарядов попал в носовую часть. Трое из членов экипажа были убиты, двое или трое ранены. К-21 с расстояния в 50 м наблюдала, как «Хавегга», набирая воду, пытался доставить раненых на берег. К-21 шла за ним и стреляла, хотя артиллерийский огонь оказался безуспешным из-за слишком высокой скорости движения. Тогда с лодки открыли огонь из автоматического оружия. Капитан рыбака получил ранение в лицо и снова отдал команду «стоп машина». Подлодка вплотную подошла к «Хавегге», Альвер смог увидеть в ее рубке пятерых человек. Они были в прорезиненных плащах и направляли в его сторону свои пистолеты. Альвер изо всех сил крикнул, чтобы перестали стрелять, потому что на борту были раненые, и попросил отпустить их на берег. После этого в рубке опустили оружие. К-21 пришла в движение и, прежде чем отпустить норвежцев на берег, сделала по «рыбаку» еще два залпа из кормовых орудий. Ни один из снарядов, к счастью, в цель не попал.

Следующей жертвой Лунина стал рыбацкий мотобот «Барен» с 55-летним капитаном Бернгом Кристофферсеном, его тремя сыновьями и двумя помощниками. На «Барене» видели все, что происходило с «Хавегой», и Кристофферсен решил немедленно уходить из района промысла и взял курс на берег. Но подлодка быстро настигла «Барен». Кристофферсен дал команду остановить бот и приказал сыновьям лечь на палубу. Подлодка подошла вплотную к катеру и открыла огонь из автоматического оружия. С лодки сигналили: поверни и бери курс в открытое море. «Барен» развернулся и взял курс на запад.

Вскоре на «Барене» услышали крики и призыв о помощи. Каково же было удивление рыбаков, когда они увидели в воде человека. Коре Кристофферсен, старший сын капитана, подцепил человека багром и поднял его на борт. К-21 в это время вплотную подошла к «Барену» и легла в дрейф. Из ее рубки спокойно наблюдали за тем, как норвежцы взяли человека из воды, а потом подлодка запустила двигатели и... ушла прочь. Пена, поднятая ее дизелями, попала на палубу «Барена».

Спасенного отнесли в каюту, дали ему переодеться в сухое и предложили чашку кофе. Он наотрез отказался, но когда увидел, что и спасатели пьют, и что никакого подвоха не было, с удовольствием выпил чашку горячего напитка. После этого он стал что-то говорить, но никто его не понял. Рыбаки дали ему клочок бумаги и ка-

рандаш, и тот нарисовал подводную лодку и снабдил свой рисунок непонятными опять фразами. Им однако показалось, что одно слово не вызывало сомнений — «Совет». Так они предположили, что молодой человек — русский матрос с русской подлодки. Это и был Алексей Николаевич Лабутин. Удивлению норвежцев не было предела.

Позже выяснилось, что во время расстрела «Хавеги» Лабутин был подносчиком снарядов. Ящик со снарядами весил 40 кг, лодку качало, неопытный крестьянский парень из Костромской области поскользнулся и упал в воду. Никто на К-21 этого не заметил. Лабутин около получаса плавал в холодных водах Баренцова моря, а лодка стреляла и стреляла, и никто не предпринял попыток вытащить его из воды.

Между тем К-21 отправилась на поиски новой жертвы. Ей оказался мотобот из Скрульсвика «Эйстейн». Подлодка вплотную подошла к мотоботу и первым же 100-миллиметровым снарядом накрыла его кормовую часть. Вторым она разнесла ему рулевую рубку. Третий и четвертый снаряды в цель не попали. «Эйстейн» потерял 5 членов команды убитыми и одного — раненым. Но и после этого лодка продолжала вести огонь.

Потом К-21 направилась к мотоботу «Скрейен», находившемуся западнее «Эйстейна». С подлодки просигналили «сушить весла», капитана мотобота взяли под прицел, а членам его команды приказали перейти на борт лодки. Семеро рыбаков взобрались на борт подлодки и спустились в ее трюм. Мотобот остался покачиваться на воде без команды. Советские моряки учинили им допрос, интересуясь главным образом расположением минных полей в Анн-фиорде. Прежде чем покинуть «поле избиения», К-21 расправилась еще с одним рыбацким мотоботом — «Фрейя».

По дороге на базу капитан Лунин угощал норвежцев водкой и рассказывал о потоплении им «Тирпица». Он ничего не скрыл в своем рапорте начальству об апрельском походе и вполне правдоподобно рассказал о своем «геройстве». В вахтенном журнале К-21 за 12 апреля норвежские рыбацкие мотоботы значатся как суда противника. Б. Братбак пишет, что немцы иногда использовали такие суда в разведывательных целях, но никогда не поднимали на них флаг со свастикой (в советских публикациях утверждалось, что расстрелянные К-21 мотоботы шли под фашистским флагом)*.

О потерянном матросе Лабутине в вахтенном журнале К-21 за 12 апреля говорится: «15.17. Накрывшей волной смыло за борт подносчика патронов носовой 100-мм пушки краснофлотца-вестового Лабутина Алексея. Показавшись на поверхности один раз, краснофлотец Лабутин скрылся под водой и больше не появлялся». Ни слова о том, что из рубки подлодки видели, как Лабутин был поднят на борт «Барена». Почему Лунин не забрал Лабутина обратно, пусть даже мертвого, остается загадкой.

...Итак, оставив своего матроса на борту «Барена», девятих убитых и пятерых раненых норвежских рыбаков (на следующий день один из раненых скончался в больнице Харстада), лодка скрылась под водой. У экипажа «Барена» иного выбора, кроме передачи Лабутина немцам, не было. Капитан доложил о нем немцам в Бевере, а те приказали доставить спасенного в Берг, в самый дальний поселок фиорда. На причале в Берге рыбаки высадили Лабутина и увидели, как он упал, а немцы подхватили его под руки и увели с собой.

Немцы немедленно учинили пленному допрос. Как выяснил Б. Братбак, допрос вел лейтенант Больте из отделения Абвера в Тромсе. Лабутин сообщил ему имя, фамилию и дату рождения, но местом рождения назвал село под Сталинградом, а не леспромхоз в Костромской области, откуда он на самом деле был родом. Кроме того,

* Через несколько дней норвежские пленники со «Скрейена» были доставлены в Полярный. Один из «пленных» — 17-летний Расмус Рюннинген — до конца войны провоевал в особом диверсионно-партизанском отряде Северного флота. Остальных посадили в лагерь для военнопленных. Трое из них там умерли, и только трое в июне 1946 года вернулись домой в Норвегию.

Лабутин скрыл от них подлинное имя командира подлодки — он назвал фамилию «Попов». Это было с его стороны вполне осмотрительно: немцы хорошо знали имя «Лунин» и могли в отместку за «Тирпиц» расстрелять и его матроса. Но Лабутин вряд ли это имел в виду — скорее, он считал эти сведения военной тайной и соврал.

Норвежские газеты, контролируемые немцами, использовали эпизод у о-ва Сенья на полную пропагандистскую «катушку». Характерно, что большинство норвежцев, несмотря на массивную немецкую пропаганду, полагало, что разбойничье нападение на рыбаков совершила немецкая подлодка...

14 апреля Лабутин был доставлен в Тромсе и помещен в лагерь для военнопленных, в котором уже находились 600 его соплеменников. Когда летом 1943 года Коре Кристофферсен с женой Элли был в Тромсе, то в марширующей по городу колонне советских военнопленных они узнали своего «крестника». Лабутин тоже узнал их и подал знак рукой. Больше они его не видели до сентября 1999 года, когда разысканный Б. Братбаком Лабутин по приглашению норвежского правительства приехал в Норвегию.

Для Лабутина начался новый этап жизни. Ничего достопримечательного в ней уже не было. Вместе с товарищами по лагерю он работал в порту Тромсе на погрузочно-разгрузочных работах, где бригадиром был эмигрант первой волны Иван Хохлин. Хохлин слушал сводки Совинформбюро и рассказывал об их содержании своим соотечественникам, в том числе членам подпольной группы, в которую входили около 20 военнопленных, включая Лабутина, и которую возглавлял мл. лейтенант Василий Васильевич Соболев. Группа занималась активным саботажем в порту Тромсе. Они портили снаряды, взрывчатку и цемент.

К середине 1944 года Соболев разработал план побега, согласно которому предполагалось взорвать в порту 2 корабля и, воспользовавшись паникой, уйти через границу в Швецию. План не удалось осуществить, поскольку группе стало известно о том, что какой-то провокатор рассказал о Соболеве немцам. И члены группы обязали Соболева совершить побег самостоятельно. Ночью 27 сентября Соболеву удалось покинуть территорию лагеря и по совету Хохлина укрыться в доме учительницы Матильды Кристофферсен. Соболев по ошибке постучал в дверь к соседям учительницы, в доме которых квартировал высокопоставленный немецкий офицер. Однако хозяйка дома сумела быстро сориентироваться и отправить Соболева по адресу. Военнопленные хорошо знали Матильду и ласково звали ее «мамусей». Учительница и ее дети не раз оказывали помощь военнопленным и одеждой, и пищей*.

Матильда Кристофферсен передела Соболева в одежду мужа и повела его к Хохлину. По улице, чтобы не привлекать внимание немцев, они шли обнявшись как муж и жена. У Хохлина Соболев ночевал 2 ночи, а потом снова перебрался в дом к Матильде. Здесь он прожил 3 недели, пока норвежские подпольщики не снабдили его поддельным норвежским паспортом. С помощью Сигфрида Нильсена, владевшего грузовиком, Соболев был переброшен в долину Шиботн, откуда его провели к норвежско-шведской границе и указали тропу в Швецию.

По пути в Шиботн грузовик Нильсена остановили немцы и хотели его реквизировать, но Нильсен энергично протестовал, доказывая, что грузовик принадлежит норвежской государственной службе, обслуживавшей немцев. В конце концов, сошлись на том, что Нильсен подвезет немцев до определенного пункта. Старшие по званию офицеры втиснулись в кабину рядом с Нильсеном и Соболевым, усвоившим

* Судя по рассказу Братбака, И. Хохлин и М. Кристофферсен были активными членами норвежского подполья и имели радиосвязь с Мурманском и курьерскую связь со Стокгольмом, в том числе с советским посольством. Так о благополучном прибытии Соболева в Швецию И. Хохлин получил подтверждение от самой А. М. Коллонтай. Б. Братбак пишет, что в Тромсе был подпольный советский радиопередатчик, работавший то ли на разведку Северного флота, то ли на разведку НКВД.

к этому времени пару норвежских фраз, а солдаты полезли в кузов. Доехали до места без всяких осложнений*.

Поздней осенью 1944 года в лагерь в Тромсе поступил морской лейтенант Виталий Д. Юрченко, взятый в июле в морском бою в плен в Варангер-фиорде. Его торпедный катер ТКА-239 (американского производства) был потоплен, а командира и нескольких его подчиненных немцы вытащили из воды. Его долго и упорно допрашивали в Киркенесе, но он выдержал все испытания и был переправлен в лагерь в Тромсе.

Некоторое время спустя Юрченко и Лабутин рассказали о своем намерении бежать все тому же Ивану Хохлину. Эмигрант охотно согласился им помочь и привлек еще одного помощника — 28-летнего норвежца по имени Турлейф Маркуссен. Маркуссен имел контакты с еще одной подпольной группой советских военнопленных. Подозреваемый немцами в связях с норвежским сопротивлением, он был арестован, 3 месяца отсидел в тюрьме, но за отсутствием улик был выпущен. Вместе с Хохловым он решил переправить Юрченко и Лабутина на шлюпке на остров Квалей, где они должны были отсидеться в саамской хижине и дожидаться прихода советской подводной лодки.

Побег состоялся 10 октября 1944 года. Погода в этот день способствовала побегу: шел проливной дождь, а на море бушевал шторм. Под покровом темноты Юрченко и Лабутину удалось отстать от своей бригады, работавшей в порту, избавиться от курток с намалеванными буквами «SU» — Советский Союз — и быстро добежать до места, где Маркуссен спрятал для них шлюпку. Но отойти от берега из-за сильного ветра они не смогли, и пришлось возвращаться в город. В его окрестностях они нашли сеновал, принадлежавший Хохлину, и решили в нем заночевать. Скоро Хохлин их нашел и перевел к себе в дом. Здесь они сфотографировались, и Хохлин «выправил» им липовые норвежские документы.

На следующий день ветер стих, и попытку добраться на шлюпке до острова Квалей повторили. На сей раз они успешно доплыли до острова и направились к месту, где их встретил Маркуссен. Он довел их до хижины, развел костер и устроил «пир», выдав беглецам по ломтю хлеба с маслом. «Такого никогда не забыть!» — писал Юрченко в 1984 году в своих воспоминаниях о Норвегии.

В рыбацкой хижине беглецы в ожидании советской подводной лодки провели несколько недель. К ним присоединился другой подпольщик, также скрывавшийся от немцев, по имени Ивар Мейер Юхансен. Но лодка так и не пришла: помешала активность немцев, вызванная, по всей видимости, постановкой линкора «Тирпиц» на рейд в Тромсе. Линкор должен был прикрывать город от воздушных нападений англичан, и немцы развили бешеную деятельность и по его маскировке, и по проверке прилегавшего района.

Тогда Хохлин и Маркуссен приняли решение переправить беглецов в Швецию. Предполагалось, что в Швецию вместе с Юрченко и Лабутиным отправится также и Маркуссен, но он по доносу своей соседки был снова арестован — на сей раз уже гестапо**. Он успел предупредить о своем аресте русских и И. М. Юхансена и передать им план маршрута в Швецию. Проводить русских должен был теперь Юхансен.

Они отправились в путь 12 ноября, когда англичане бомбили «Тирпиц». «Полюбовавшись» атакой англичан, трое беглецов, в сопровождении Сиверта Бакуса, товарища Маркуссена по подполью, пошли к морю. Там они, попрощавшись с Бакусом, «позаимствовали» чью-то шлюпку и беспрепятственно преодолели на веслах фиорд.

* В. В. Соболев вернулся в Советский Союз и успел повоевать. Во время штурма Кенигсберга был ранен. По окончании войны работал лоцманом на Енисее. Умер в 1972 году, оставив воспоминания о норвежском плене и теплые слова о норвежцах.

** Была арестована также жена Маркуссена, но через 5 месяцев выпущена на свободу. Сам Маркуссен до конца войны сидел в лагере Крекеберселетта.

Они высадились в Малангене, где у Юхансена были родственники, снабдившие их едой и одеждой. Дальше их путь лежал на восток. В Сагельваттне они получили помощь от знакомого Маркуссена и скоро оказались в Рустадале. Следующим пунктом их маршрута должен был быть Эвербюгде, но по пути они провалились под лед, промокли до нитки и с трудом добрались до какого-то хутора. Здесь крестьянская семья накормила и высушила их и отправила в семью Фагернесов, посвященную в это предприятие и ждавшую своих подопечных. Фагернесы разместили беглецов в хлеву, потому что в дом его часто заходили за молоком немцы. Фагернесы снабдили беглецов картой, на которую были нанесены места расположения немецких постов, и объяснили, как их можно было обойти.

19 ноября Юрченко, Лабутин и их норвежский товарищ пришли на шведскую погранзаставу в Каммавуопио. Шведы радушно встретили их, но реквизировали у Юхансена карабин, оставив при них холодное оружие. На следующий день все трое присоединились к другим норвежским беженцам и в сопровождении местного проводника продолжили путь на восток в Кируну, а затем на юг Швеции. В Кируне Юрченко и Лабутин попрощались с Юхансеном*, отдохнули, экипировались за счет советского посольства и поездом отправились в Стокгольм. Там они попали в шведский лагерь для перемещенных лиц в Лисме, где встретили 120 человек своих земляков, бежавших из лагерей в Норвегии и Финляндии.

14 декабря Лабутин и Юрченко сели в Стокгольме на пароход и поплыли в Финляндию, которая к этому времени уже вышла из войны. Поезд из Хельсинки довез их до Выборга. Оттуда Юрченко отправился служить в Каспийскую флотилию, потом воевал в составе Днепровской флотилии, а в 1950 году вышел в отставку. Лабутин вернулся в Мурманск на Северный флот. Он встретил там некоторых своих сослуживцев по К-21, которые подтвердили, что капитан подлодки на самом деле не принял надлежащих мер по спасению своего матроса. Скоро Лабутина перевели в пехоту, он принимал участие в штурме Кенигсберга, был там тяжело ранен в голову и попал на долгое время в госпиталь. В 1948 году его демобилизовали на «гражданку». Лишь много лет спустя он узнал, что его увольнение из армии не обошлось без вмешательства Лунина. Оказывается, Лунин постоянно интересовался его судьбой и содействовал тому, чтобы раненого Лабутина уволили из армии и дали ему пенсию. Лунин помог также Юрченко отыскать адрес Лабутина, и между бывшими узниками немецкого лагеря в Тромсе возникла переписка. В 1981 году Юрченко приехал к Лабутину в гости, а потом и Лабутин навестил его в Новороссийске.

Лабутин пытался встретиться со своим бывшим командиром и выяснить, что же произошло тогда в море 12 апреля. Он поехал в Ленинград, где жил его бывший командир, разыскал его дом, но того не оказалось дома. Так они и не встретились.

Лунин благополучно довоевал до конца войны и умер в 1970 году в Ленинграде в звании контр-адмирала.

На протяжении всех послевоенных лет день 12 апреля норвежские рыбаки острова Сенья отмечали как день траура. Всякий раз, когда норвежцы в беседах с представителями советских (российских) ВМС пытались выяснить подробности Свеннгрюнского дела, русские замыкались и с трудом подбирали выражения для его объяснения.



* По возвращении в Тромсе И. М. Юхансен заболел туберкулезом и скоро умер.

Мстислав Казанский

(г. Богородицк Тульской области)

ЖАВОРОНКОВ И ЕРМАКОВ

(Отрывок из книги «Гудериан в Богородицке»)



Наш постоянный автор.

Богородицк попал в полосу наступления немецкого 53-го армейского корпуса, его 112-й и 167-й пехотных дивизий 7—9 ноября 1941 года, когда немцы нацелились на Узловую и Сталиногорск. Обороняла Богородицк 41-я кавалерийская дивизия, которой командовал полковник Давыдов Петр Михайлович. 2-я танковая армия Гудериана, и приданные ей пехотные части, не смогли в лоб, прямыми атаками взять Тулу. И потому Гудериан решил обойти город оружейников с юго-востока. Перед немцами стояла задача захватить города Венев, Каширу и нанести удар по Москве со стороны Коломны и Егорьевска.

41-я кавалерийская дивизия входила в состав 50-й армии, командовал которой генерал-майор А. Н. Ермаков (до 22 ноября 1941 года), а потом после его отставки — генерал-лейтенант И. В. Болдин (с 24 ноября). Соединение было сформировано в июле 1941 года в районе города Ковров Владимирской области. С 14 августа по 2 октября оно находилось в резерве Верховного Главнокомандования, потом его перебросили на Западный фронт, на Тульское направление. Особенно тяжелыми стали для дивизии октябрьские бои в районе Черни и Плавска, где наши понесли ощутимые потери в личном составе.

Несколько слов о командире — полковнике Давыдове Петре Михайловиче. Он родился в 1894 году в Ставропольской губернии, участвовал в 1-й Мировой войне, дослужился до старшего унтер-офицера и награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами. Смелый он был человек, отважный и решительный. В 1917 году возвратился с фронта и вступил в отряд Красной гвардии. Много воевал в Гражданскую войну, командовал различными воинскими подразделениями, удостоен высоких наград. В межвоенное время учился на подготовительном курсе Военной академии РККА и на кавалерийских курсах. Однако полного военного образования не получил. 15 июля 1941 года П. М. Давыдов в звании комбрига получил назначение командиром 41-й кавалерийской дивизии.

Богородицк в 1930—1950-е годы являлся городом районного подчинения, центром Товарковского района, и численность его не достигала десяти тысяч человек, площадь составляла 1500 гектаров. Выглядел вполне заурядным, провинциальным городком, однако имел интересную историю. До революции 1917 года 85% земель Богородицкого уезда принадлежало известным российским дворянам, крупным землевладельцам графам Бобринским. От них в Богородицке остался чудесный трехэтажный дворец, построенный архитектором И. Е. Старовым. Дворец до осени 1941 года белым лебедем отражался в водах большого городского пруда, устроенного на реке Лесной Уперт, и был гордостью богородчан. Промышленного производства в Богородицке практически не было. Существовали центральные электромеханические

мастерские, которые ремонтировали горнорудное оборудование, работал горкомхоз, небольшой стройучасток, несколько предприятий пищевой промышленности и небольшой керамо-кирпичный завод.

Но особенное значение для области имела так называемая зерносыпка, т.е. элеватор. На нем осенью 1941 года находилось 8000 тонн зерна. Недалеко от города располагалось хранилище бензина, керосина и технических масел вместительностью около одной тысячи тонн, что обеспечивало потребность населения и колхозов в горюче-смазочных материалах.

Через Богородицк проходила прямая железнодорожная магистраль, играющая важную роль в связи Москвы с Донбассом, Ростовом-на-Дону, Краснодарским краем, да и, впрочем, со всеми южными регионами России. Немцам во что бы то ни стало необходимо было оседлать эту железную дорогу, взять ее под контроль. Тогда они могли бы спокойно перебрасывать людские резервы, оружие и продовольствие по всему Западному и Юго-Западному фронтам. Готовилось немецкое наступление на Воронеж, Ростов-на-Дону и на Сталинград, поэтому фашистам эта магистраль была очень нужна.

К тому же Богородицк открывал немецкому наступлению путь на Узловую, где начиналась железная дорога на Рязань и Пензу. А в соответствующих областях Ставка Верховного Главнокомандования срочно формировала резервные стрелковые и танковые дивизии, которые должны были переломить ход войны на советско-германском фронте. Поэтому, рассматривая дальнейшие планы и перспективы своего наступления, Гудериан наметил как ближайшую задачу взятие Богородицка с выходом на Узловую и Сталиногорск и с продвижением немецких частей на Рязань, Зарайск, Коломну и далее на Москву. Богородицку отводилась роль базы по тыловому обеспечению 2-й танковой армии и приписанных к ней пехотных частей.

Тяжелые бои развернулись 7 ноября 1941 года между наступающими немецкими 112-й и 167-й пехотными дивизиями и отходившими частями 50-й и 3-й армий. 9 ноября 1941 года немцы ударили в незащищенный стык Западного и Юго-Западного фронтов. Разрыв достигал более 50-ти километров. 167-я наступала от Теплового на Алексеевку, Волово, Никитское, Михайловское, Епифань, а 112-я — на Богородицк и Узловую. Противостояла последней как раз наша 41-я кавдивизия полковника Давыдова.

В ее составе было три полка: 170-й, 172-й и 168-й кавалерийские полки. Общая численность указанных частей в период обороны Богородицка составляла около двух тысяч бойцов. Да и кавалерийскими полками они назывались согласно их Уставу и официальной принадлежности к кавалерии, а на самом деле в боях под Мценском и селом Теплое эти части потеряли 2/3 личного состава и практически 100 % остались без лошадей. Бои дивизия вела в основном в пешем порядке.

Соединение имело на вооружении стрелковое оружие, несколько минометов и противотанковых пушек 45-го калибра. В прошедших боях дивизия была обескровлена и тактической, непреодолимой обороны от немцев на своем фланге создать не могла. Бойцы вели арьергардные бои, медленно отступали от рубежа к рубежу. Впереди оборонявшихся шел обоз с военным имуществом, фуражом и продовольствием. За обозом двигался штаб дивизии, координируя на месте перемещение красноармейцев и создавая опорные точки сопротивления наступающему противнику. Временами по флангам 112-я немецкая даже опережала нашу 41-ю дивизию, и полковник Давыдов умело проводил фланговые атаки, нанося ущерб вражеским частям. Конкретно в отчетах дивизии штабу 50-й армии указывалось: 8 ноября 1941 года 41-я кавдивизия нанесла противнику ощутимый удар во фланг наступавшей 112-й пехотной дивизии врага. 12 ноября наше соединение отошло для обороны Богородицка, однако город сдали врагу без ощутимого сопротивления 15 ноября.

После этого 41-я кавдивизия отступила к Узловой, где присоединилась к 239-й

стрелковой дивизии, которой командовал полковник Г. О. Мартиросян. Она отчаянно сдерживала немцев на подступах к Узловой и Сталиногорску. 239-я СД была свежим, хорошо укомплектованным вооруженным формированием. Она разгрузилась на станции Узловая, прибыв из Сибири 15—17 ноября, и с ходу вступила в бой с атакующим врагом. Но фашисты имели превосходство, и Узловая сдана врагу 21 ноября, Сталиногорск-1 оставлен 24 ноября, Сталиногорск-2 — 25 ноября.

25 ноября 1941 года 41-я и 239-я дивизии попали в окружение в районе Узловой и Сталиногорска, но в ночь на 27 ноября смогли прорвать кольцо окружения и большей своей частью вышли из него. Было потеряно в боях более половины личного состава и лошадей, а к началу декабря 1941 года 41-я кавалерийская дивизия вошла во вновь сформированную в районе Рязани 10-ю армию Ф. И. Голикова, имея численность около 1500 человек.

Об освобождении Богородицка после войны написано много, а вот об обороне города следует рассказать. Некому было стенографировать события тех дней, да и надлежавшей обороны практически не было. Есть прекрасная статья Ольги Владимировны Перовой, старшего научного сотрудника Богородицкого дворца-музея. Статья так и называется — «Оборона Богородицка», она опубликована в еженедельной газете «Богородицкие вести» в 2009 году. Ольга Владимировна прямо и конкретно пишет: «В освобождении Богородицка от немецко-фашистских захватчиков нет белых пятен. Но мало кто интересовался обороной, почти нет предствления о том, как все же защищался город от наступающих фашистов. Эта страница так и оказалась нераскрытой».

А я предполагаю, что этой самой упорной и кровавой обороны Богородицка и во все не было, и нечего нам сейчас рассекречивать. Ольга Владимировна писала, что наш город был опоясан с южной и восточной стороны противотанковыми рвами глубиной около трех метров с устроенными блиндажами и боевыми укреплениями — оружейно-минометными площадками. Противотанковый ров действительно имелся, и бетонные доты и землянки существовали. Я сам недавно в районе бывшей деревни Масальцы ходил по обвалившимся брустверам старинных окопов. Но построили их не в октябре — ноябре 1941 года, а весной и летом 1942 года, когда фашисты закрепились на линии рек Ока и Зуша, западнее райцентров Чернь и Белев, примерно в 150 километрах от Богородицка. Немцы были там, держали оборону после зимы 1941 года, а в Богородицком районе тысячи людей рыли траншеи. Почему? Да потому что в 1942 году Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин был твердо уверен, что с наступлением тепла Гитлер повторит нападение на Москву. Сталин никак не мог подумать, что вермахт двинет свои армии на юг к Воронежу, к Сталинграду, на Кавказ, чтобы перерезать нефтяные и продовольственные жилы Советского Союза.

Потому руководству ближних к столице областей и была дана команда в марте 1942 года готовиться к новой обороне, сооружать преграды. Такие противотанковые рвы копали по всей линии прошлого наступления немцев в 1941 году. Копали труженики тыла эти рвы и под Богородицком, и под Бестужевом, и под Епифанью с Кимовском. Кимовска как города в то время не было, он назывался станцией Епифань. Да и потом, где можно было взять людей в октябре — ноябре 1941 года, где могли собрать силы, чтобы заняться такой тяжелой работой. В городе царил паника, население металось между домами и вокзалом, не зная, убежать ли сейчас из города или остаться. Управление городом было дезорганизовано.

Но чтобы понять, что творилось в Богородицке в октябре — ноябре 1941 года, предоставим слово очевидцу тех событий, первому секретарю Товарковского райкома ВКП(б) Василию Родионовичу Ребрикову. Он являлся не только настоящим коммунистом, но и жестким руководителем, патриотом, не боявшимся в решительный момент взять в руки винтовку или револьвер. У него руки не дрожали, когда он приговаривал к смерти и расстреливал на месте провокаторов, паникеров и мародеров,

как того требовал приказ Сталина. А таких отщепенцев и предателей было немало в глубинке, в селах и малых городах. Ребриков при этом любил перо и бумагу и с удовольствием записывал мысли, фиксировал поступки людей, их настроения, обстановку, рисовал картинку безрадостного отступления Красной армии, да и все то, что происходило на его глазах. Короче, в это суровое, разломное время осени 1941 года, когда немец чертом рвался к Москве, он вел дневник. Самый натуральный дневник, который сегодня честно и правдиво рассказывает о всех плюсах и минусах обороны Богородицка. Наши местные журналисты, пожалуй, все знают об этом дневнике, читали его, делали выписки, отдельные фрагменты даже публиковались в городской газете. Но велась эта работа по изучению и раскрытию дневника отрывочно, опускались моменты, где Василий Родионович яростно критиковал отдельных коммунистов, руководителей, спасавших, прежде всего, свою жизнь и не выполнявших государственных задачи по контролю над сложившейся обстановкой.

Василий Родионович критиковал и командование 41-й кавалерийской дивизии, вроде бы защищавшей от фашистов Богородицк. Есть у него горькая заметка об отношениях со штабом соединения. Ребриков был прям и крут — как тот же первый секретарь Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонков — он также не нашел взаимопонимания с командиром 41-й кавалерийской дивизией Давыдовым. А может быть, даже и не виделся с ним — комдив быстро переместил штаб под Епифань или под Сталиногорск. В этом еще надо разбираться, надо изучить штабные документы этой кавдивизии, правда, если они сохранились.

А сейчас я представлю дневник Ребрикова в самом реальном виде, без какого-либо редактирования. Вдумчивый читатель сам разберется.

**Дневник Ребрикова Василия Родионовича.
1-го секретаря Товарковского РК ВКП(б)
(11.10.1941 — 22.11.1941)**

11 октября. Жена уехала с госпиталем № 1069. Перешел на казарменное положение.

Стервятники беспокоят каждый день. На днях сволочь привязался к Малевке и долбил станцию и перегон целый день.

9-го, т.е. позавчера, один стервятник сбросил на ДПЗ, стройка загорелась. Завтра-послезавтра отправят своих жен другие руководящие районные работники.

20 октября. Поднимается паника. Люди бегут. Через город идут, едут на лошадах, автомашинах из занятых немцами районов. Уйма людей. Беженцы, а тут еще идет масса окруженцев. Среди этой публики многие сеют панику, пускают провокационные слухи, занимаются мародерством. В городе форменная кутерьма. В таком движении люда в город могут войти шпионы, диверсанты и любая сволочь. Смотреть тяжело на создающуюся картину. Партактив надломился, приходят в РК с истерикой, требуют эвакуацию. Дали команду, чтобы коммунисты эвакуировали семьи — кто куда сумеет.

Начали эвакуировать скот. Многих коммунистов и их семьи отправим со скотом. Приехали ВПС 52 и 107. Пошумели и стараются уезжать. Вот до кого еще не дошла рука ГОКО. Многие командиры пьянствуют, возят каких-то крашенных бабенок. Жрут, спят и ничего не делают. Уезжали бы скорей к чертовой бабушке. Партактив весь поставил на ноги. Все держится исключительно на плечах партактива. Шахты кончили работать. В районе вся промышленность остановилась. По существу и колхозы не работают. Просто руки не хочется прикладывать к уборке. Хлеба в элеваторах свыше 8000 тонн. Фронт движется. Хлеб надо вывозить, а вагонов не дают. Неужели все богатство отправят немчуре? Нет! Эти сволочи получают угольки.

24 октября. Атмосфера становится сгущенной. Явственно слышна канонада. Фронт рядом. Распоясались жулики, мародеры. Обнаглели до того, что днем кину-

лись грабить состав с хлебом и другими продуктами. Дал команду пристреливать сволочей на месте. Пристрелили одного на станции Жданка. Сразу стало спокойно. Пристрелили еще троих; одного в Малевке, одного в Бегичеве и одного на шахте № 63. Сразу утихомирили всю сволочь. В Дедилове героически вела себя одна телефонистка; она на протяжении нескольких дней поддерживала с нами связь, тогда как все начальство района, за исключением начальника р/о НКВД удрали. Послали разведку в Дедилово, и оказалось, что по просочившимся в село немцам крепко ударили наши части, которые остались в Дедилове.

25-го октября. Попросил Савельевну приготовить ванну часам к четверем дня. В начале шестого вечера поехал мыться. Только влез в ванну, как начались сильная канонада и жуткие разрывы бомб. Никак не определяю, где раздаются взрывы. Решаю кончить мытье и двигаться скорее в райком. Выхожу на улицу; у крыльца (у входа) стоят женщины и дети с испугом на лицах. Спрашиваю, где бомбят, отвечают, видно, станцию Жданка. Приехав в райком, сверяюсь, оказывается, Узловая подверглась сильной бомбежке. В это время в Узловой было около 40 человек убито и 130 ранено. Связь НКПС и НКС нарушена.

6 ноября. Ждем с нетерпением сообщений по радио, потому что несколько раз мы предупреждали все узлы о необходимости организации коллективного радиослушания. Наконец, дождалась. Сталин делает доклад о XXIV годовщине Октябрьской революции. С напряженным вниманием слушаем доклад. Какую уверенность вселил он в нас!! Горячо обсуждаем. Слежу за народом, т.е. за своим активом: как бы ребята не решили справлять встречу Октября. А как было больно на сердце. Такой большой праздник, и в таких тяжелых условиях приходится встречать его. Даю указание тов. Лебедеву, чтобы доклад тов. Сталина был отпечатан в нашей газете. Доклад 10 ноября был помещен в районной газете. Посылаем товарищей в село зачитать доклад тов. Сталина и его речь на параде.

8-го ноября. Собираем всех секретарей парторганизаций и даем указание: приготовить личные вещи, продукты. Коммунистов всех перевести на казарменное положение, быть готовыми к тому, чтобы тут же отходить, если город будет занимать немцами.

9-го ноября. Была большая очередная паника. Звонят и говорят, что Узловую заняли немцы, и все узловское начальство ушло из района. Делаю попытки связаться с Узловой — безрезультатно. Посылаем разведку в составе товарищей: Курочкина, Тадонова, Юракова, Мартынова и Попова на грузовой машине. Чуркина вела себя истерично. Сколько раз она распространяла панические слухи! Сколько раз она звонила и орала: «Ребриков, к тебе двинулись немецкие танки» или: «Ребриков, к тебе движется мотопехота или автоматчики». И каждый раз была ложь. Ждем разведку, в четыре часа ложусь отдохнуть. Разведка приехала в пять часов утра. Доложила — немцев в Узловой нет, нервозность жуткая. Панику подняли железнодорожники, они начали удирать панически. Собираю совет «старейшин», чтобы решить целый ряд вопросов. С Тулой связи нет. Все приходится решать самому. Так вот спрашиваю совета, как поступить с шахтами, с зерном на элеваторах и в колхозных амбарах. Что делать с нефтебазой, там бензина 318 тонн. Сидят мои люди и молчат. Все ждут моих указаний. Не стерпел и вспылел: «Что молчать-то, давайте предложения». Райвоенком Зайцев начал неуверенно говорить, но прямых предложений не дает.

Предлагаю: 1. По шахтам ограничиться завалом крестов, демонтажом водоотлива и вентиляции, оборудование затащить в глухие штреки и завалить, подъем разобрать и сбросить в ствол, канат изрубить и также сбросить в ствол. Стволы не взрывать, поверхность не сжигать. Руководствуюсь докладом тов. Сталина 6/XI-41 г., считаю, что если мы и уйдем из района, то не более чем на 1, ну на 1/2 месяца (Предложение приняли).

Предлагаю: 2. Колхозное зерно раздать по трудоводням, а зерно на элеваторах продать и, судя по обстановке, можно будет оставить 1500—2000 тонн. (Предложение приняли). При отходе элеваторы сжечь. По нефтебазе — сжечь. (Приняли).

Снова в районе. Период времени с 25 октября и по 15 ноября был весьма напряженным. После взятия Орла немецко-фашистскими войсками нависла серьезная угроза над Тулой.

14 октября я был вызван в Тулу на совещание. Получив инструкции по ряду вопросов, разъехались.

Враг стал занимать один за другим районы Тульской области. Массы беженцев хлынули через наш район. Они сеяли жуткую панику. День и ночь двигались люди в разных направлениях: одни из Ефремова шли на Тулу, другие шли из Тулы на Ефремов и Елец. Сколько слез, истерик, детского плача... Картина очень удручающая. К этому движению гражданских людей присоединилось шествие окруженцев, среди которых было много дезертиров, шпионов, провокаторов и мародеров. Весь порядок поддерживался силами вооруженного партизанства. Людей гоняли день и ночь, люди сбивались с ног.

А канонада все приближалась и приближалась. Многие коммунисты дрожали от страха, прибегали в райком с просьбой разрешить им эвакуироваться. Когда плачут женщины от страха, как-то принято считать за обычай, а вот когда нюни распускают мужчины, становится неприятно. Трусость прет через край. Спим в райкоме, не раздеваясь. Обстановка напряженная. Иногда нервы были так натянуты, что малейшее движение и шум вызывали какое-то озлобление. Руководящие работники почти все держатся хорошо.

Помню, был такой случай. Ночь. Темно так, что рядом стоящего не видишь. Звонок телефона. Беру трубку, сообщают: «В город вошли немецкие танки, двигаются по направлению к Туле». Ставлю на ноги народ. Проверяют. Оказывается, это прошли два трактора «ЧТЗ» и встали у райисполкома. Еще случай. Летел стервятник и так низко, что простым глазом были видны фашистские знаки. Шел так тяжело и медленно. Не прошло и пяти минут, как начали звонить в райком, придать, и все заявляют, что с самолета выброшен десант и, главное, около 20 человек заявляют, и все называют одни и те же цифры 20—25 человек, и одно и то же место высадки десанта. Оказалось: обман зрения.

Оказывается, на подступах к Сталиногорску стервятника встретил заградительный огонь зениток, и разрывы снарядов создавали шапку дыма, которая, рассеиваясь, шла вниз. Но до 11 ноября не было ни одного дня, чтобы стервятники не напакостили в районе. Помню, как-то один день выдался такой: часов в 8 утра один стервятник сбросил 12 бомб на разъезд Малевку и повредил полотно железной дороги. Тут же приняты были меры к исправлению повреждений. Но только рабочие принялись за работу, снова появился стервятник и стал обстреливать рабочих из пулемета. Разогнал, улетел. Рабочие снова взялись за исправление полотна. Не прошло и часа, как снова появился стервятник, сбросил еще 8 бомб, обстрелял разбежавшихся рабочих из пулемета и улетел. Две бомбы попали в полотно железной дороги, и образовалось новое повреждение. Только рабочие вышли на исправление, как в третий раз стервятник начал обстреливать людей из пулемета, и так в течение дня шесть раз, сволочь, бомбил Малевку и обстреливал рабочих. Позвонил в Тулу В. Г. Жаворонкову, попросил, чтобы прислали истребитель. Не прошло и 15 минут после разговора, как три наших «ястребка» появились над районом.

Как-то в октябре раздался звонок. Беру трубку телефона. Звонят из Красноармейского Совета и говорят, что со стороны Мишиц идут в Ломовку немецкие танки. Перепроверяем сообщение, и оказывается, что это два трактора одной нашей воинской части.

Был такой случай. Не помню, кто-то вбегает в кабинет и сообщает, что в го-

род вошли немецкие танки и пошли на Тулу. Поставил буквально весь коллектив на ноги. Актив больше часу искал по городу танки. Наконец, выясняется, что прошли два трактора «ЧТЗ» Товарковской МТС к райисполкому, там и встали.

Ноябрь. Тулу окружили почти кольцом. Связи с Тулой нет. Немецкая разведка стала рыскать по нашему району. Звонят раз днем, это было числа четвертого ноября. Сообщают, что в Степановку въехала немецкая разведка в количестве одиннадцати всадников, хорошо вооруженная. Даю команду председателю сельсовета следить неослабно за каждым шагом немчуры и тут же ставить меня в известность о ее продвижении. Посылаю туда шесть коммунистов: Кормилицына, Анурова, Тадонова, Юракова, Батова и Косарева. Даю задание: представится возможность взять в шоры немчуру — бейте.

Разведка, расспросив дорогу на Дубовку и Юлинку, уехала. Этот визит разведки натолкнул нас на необходимость самим вести разведку. Мы стали посылать ее в другие районы. Наша разведка ходила в Щекинский район, когда он уже был занят немцами, в Тепло-Огоревский, Дедиловский, Узловский, Воловский.

В это время бои шли в таких деревнях и селах, как Пироговка Плавского района, Суры, Сухой Ручей, Анновка, Новоселки, Богатеево, Огарево Тепло-Огаревского района, а со стороны Щекинского района немцы стали заходить и в Дедиловский. Дедиловцы форменным образом удрали, и нам пришлось выставлять свои телефонизированные дозоры с северной и северо-западной стороны. В деревнях Черная Грязь и Юлинка мы поставили телефоны и держали своих дежурных.

11 ноября. Лег отдохнуть в пять часов утра. Не помню, сколько было времени, кажется, 9 ч.30 мин., раздался оглушительный взрыв. Я со сна не пойму, в чем дело, но вижу, что одеяло усыпано осколками стекол и штукатурки. Следующий взрыв привел меня в чувство. Быстро обулся, оделся, выскакиваю на улицу, смотрю: стервятник очень низко кружит над центром города и поливает улицы пулеметными очередями. Я пошел во двор к укрытию, видимо, сволочи — фрицы видят нас, а я был не один — дают по нам пулеметную очередь, мы скрываемся в щель. Не прошло и трех минут, как он сбросил снова две бомбы, и последовал оглушительный взрыв. Обстрелял из пулемета город и скрылся. В райкоме, во всех кабинетах, стекла выскочили, уцелели только в кабинете Перекатнова.

Первый свой прилет стервятник сделал более удачным: бомбы попали в два дома по Красноармейской недалеко от райкома — он наверняка метил в райком, в домах были две семьи. Одна бомба попала во двор Госбанка, убило лошадь и одного человека; одна бомба попала в дом по улице Коммунаров, дом разрушило, три человека убиты; одна бомба жახнула недалеко от телефонной станции, не оставив целым ни одного стекла; одна шлепнулась у аптеки, но не взорвалась. Две угодили в пруд, оглушили всю рыбу.

Около четырех часов дня стервятник припозжаловал снова. Сбросив груз в центре города, сволочь, удрал. Во второй налет разрушил почту и отбил угол у одного дома. Сбросил за день стервятник 14 бомб на город, разрушил 6 домов, и в остальных домах везде вылетели стекла. Убито было 23 человека, ранено 42 человека. В райкоме оставаться нельзя. Решаем переехать в трест. Вечером переехали в трест, а женскую часть работников райкома — Чебурахову, Мазурина, Нагайцеву и Шишкову (роно) вместе с нашими вещевыми мешками, кое-какими продуктами отправили в Бегичево, где у нас уже была создана база продуктов на случай эвакуации из района. Вечером жители стали вереницами покидать город. По городу пустили слух, что во время бомбежки с самолета будто бы была сброшена листовка, в которой говорилось: «Завтра, т.е. 12 ноября, мы снова будем бомбить город и предлагаем населению уйти в деревни».

Народ шел с узелками, детей несли, везли. Многие везли коров, коз. Шествие было удручающим. Часов в десять вечера в городе ни души, вернее, на улицах города ни

души. Город как будто вымер. Чувствуем, что бомбежка была предпринята с разведывательной целью, и нужно ждать разведки у самого города.

12 ноября. Переодетая немецкая разведка пробралась в город. У телефонной станции милиционеру Васюкову показали подозрительными два субъекта. Он остановил их и скомандовал: «Руки вверх!», но подпустил их так близко, что один моментально выхватил у него из рук винтовку и из нее же смертельно ранил милиционера. Оказалось, что это были переодетые немецкие разведчики. Ту сволочь, которая провела фашистов в город, задержали и расстреляли. Днем буквально мы не сидели на месте, так как немецкие стервятники весь день пролетали над городом, а мы то и дело бегали в укрытия. Весть об убийстве милиционера моментально разнеслась по городу. Нервозность стала еще больше. Вечером уходим из треста и устраиваем временно резиденцию в конторе шахтерского свеклосовхоза, как раз берем в свои руки и телефонный коммутатор.

14 ноября. Утром возвращаемся в трест. Часов в 10 утра мне позвонили и сказали, что в город пришла одна наша кавдивизия и что меня просят прийти в штаб. (41-я кавалерийская дивизия Давыдова П. М.) Направляемся в штаб: я, Бобровников, Волков и Зайцев. Ничего толково нам там не сказали, и мы ушли. День прошел спокойно.

14 же вечером, часов в 7, звонят мне и сообщают, что в Ломовку вошли немцы. Спрашиваю: «Сколько?». Отвечают: «Человек 200». Звоним в штаб дивизии. Получаем «шапкозакидательский» ответ: «Утром всех ликвидируем». Часов в 9 заявляют из Ломовки: Орлов — председатель сельсовета, Комиссаров — председатель колхоза им. Степанова и Козлов — заведующий почтовым отделением. Посылаем в Ломовку разведку, и часам к 12 ночи получаем такие сведения: в каждом доме разместились по 8—10 человек. Это получается больше полка. Потом у леса, близ шахты № 59, стоят два танка и десять бронемашин. Есть артиллерия. Сообщаем эти сведения штабу дивизии. Для связи со штабом посылаю туда Батова. По ходу дела чувствую, что в дивизии уйма преступной беспечности. Батов пришел и сообщает, что начальник штаба Саркисян заявил так: «О судьбе партийного актива пусть решает вопрос секретарь РК». Звоню в штаб, прошу командира дивизии, говорят — отдыхает. Прошу комиссара — тоже отдыхает. Прошу начальника штаба — бодрствует. Спрашиваю, могу ли я надеяться, что командование дивизии проявит заботу о партактиве. Отвечает: «Нет, действуйте сами».

Трусы начинают ныть, что надо уходить в Бегичево. Я никогда не предполагал, что Прошин так сильно «празднует труса». Даю команду отдыхать. Кар. (аульным) начальником назначил Прошина. Кругом выставили посты. Свободные от караула легли отдохнуть. В 3 ч. 30 мин. (утро) 15 ноября даю команду: группами по 6—8 человек идти на Шахтерское отделение совхоза, у конторы ждать всем нас. Даю указание Прошину: группу 4—5 человек направить пешком до Бегичева. Задача: разведка дороги и местности. В 4 часа ухожу из треста с последней группой.

Горит шахта № 64. Сильный жгучий ветер. Холодно. Собираем всю группу и двигаемся в Шахтерское отделение совхоза. Предварительно здесь уже была наша разведка и предупредила управляющего о нашем скором приходе. Привели в порядок две печи, комнаты, затопили печи, выставили караул и легли хоть немного поспать. Легли уже около 6 часов утра. В 8 часов меня разбудили и говорят, что нас окружают. Такому заявлению не верю. Посылаем в то направление, куда якобы пошли немцы, группу коммунистов. Не прошло и 20 минут, они вернулись и доложили: группа красноармейцев пробирается ложиной на Епифань, идут из окружения.

Начался бой за город. Идет ружейная, пулеметная и минометная стрельба. Наблюдают в бинокль за ходом боя. В городе торгуют магазины, работает телефонная станция, работает радио. Немцы теснят наши части. В два часа фрицы открыли артиллерийский огонь по Вязовке, и первый снаряд угодил в штаб дивизии, слетела с

дома крыша и вылетели все стекла. Штабисты выскочили, сели на автомашины, стоявшие метрах в 250-ти от штаба на дороге, и буквально удрали, не дав распоряжения бойцам или командирам об уничтожении ряда объектов: складов заготзерна, нефтебазы, хлебозавода. Немцы у бойни, уже подходят к городу. Начали бить из минометов по станции Жданка.

Даю команду поджечь склады заготзерна и нефтебазу. В три часа дня закрыли магазины. В три часа дня прекратили работу телефонная станция, последний мой разговор был около трех часов, когда я предложил оставшимся в городе товарищам отходить в Бегичево. В 3 ч. 30 мин. двинулись из Шахтерского отделения в Бегичево. Я ехал на грузовой машине Госбанка, на которой везли 7,5 миллиона рублей.

Горят нефтебаза и заготзерно. Над городом громадное зарево. Даю команду Госбанку и сберкассе двигаться по маршруту на Пензу, остальной народ подготовить к выходу в Бестужевский совхоз. Дав ряд указаний товарищам, которые по заданию РК должны остаться в тылу для подпольной работы, попрощавшись с ними, мы вышли из Бегичева. Темно. Огромная шапка-заревое висит над городом. Народ идет молча. Редко слышен разговор. На сердце тяжело, тяжело. Я никогда не думаю, чтобы из Тульской области придется уходить из-за оккупации ее врагом. Узрелые, сдвинули брови, на сердце раздумье легло: куда пойдем? где и чем кончится наш путь? что день грядущий нам готовит? Такие вопросы невольно лезут в голову. Сбились с дороги. Встал весь караван. Нервничают.

Успокоил, верховых послал узнать, где дорога. Пришлось около километра двигаться прямо по полю, чтобы выйти на дорогу. Часа в три утра 16 ноября добрались до совхоза «Бестужево» Епифанского района. Разместились с грехом пополам, чтобы хоть несколько часов соснуть. Выставили караулы. Часов в девять утра поднялись, попили чаю и двинулись в Казановку. Шофер дороги не знает. Путались часа два, пока напали на дорогу. Весь отряд приехал в Казановку часа в четыре дня. Разместились.

16 ноября. Часа в два дня заявляются: Бобренов, Перекатнов и Бобровников. Они были на шахте № 11 и говорят, что звонил им Мишин — начальник р/о НКВД и сообщил, что в Епифань вошли немцы. А я только что вылез из ванны. Даю команду выступать в Бучалки. В Бучалках расстреляли двух мародеров. Переночевали в доме совхоза и 17 ноября, часа в 4—5, двинулись в Горлово.

17 ноября. В Казановке мы уже узнали, что в Балахне повешены немецкой сволочью Курочкин, Навольнев, Тадонов и Недосекин. В Горлове сшили себе несколько полушубков.

В ватной телогрейке ходить стало холодно, а мое кожаное пальто Воинов увез в Молотов. 20 ноября пошли с Бобровниковым в райком. Сидим, разговариваем с секретарем и предриком, в это время входит майор и сообщает, что немцы двигаются к Горлову, и они, т.е. авиачасти, получили команду сняться с аэродрома. Вечером, когда мы шли из столовой, войска из Горлова уходили.

21 ноября. Часа в три дня пришел Пожитьев и сообщил: «В Руденках немцы, это в трех километрах от Горлова». Отряд наш остался небольшой.

20/XI. Я больше 100 чел. во главе с Парфенковым направил в Серебряные Пруды в распоряжение обкома ВКП(б).

21/XI. Из Горлова выезжаем в Скопин. На ночлег остановились в д. Стрелецкая Дубрава в десяти километрах от Скопина. Ночевали в сельсовете. Утром 22/XI сообщают новость: сбежали три шофера, один с легковой машины «ГАЗ» и два с грузовых машин — одна трехтонка и полуторка. Шоферы грузовых машин свои машины изуродовали. Почти целый день возились, налаживая грузовые машины. К вечеру были вынуждены уйти в Скопин, бросив две грузовые машины, а «ГАЗик» Алферов вел сам до Скопина. Итак, лишились большого транспорта.

В Скопин приехали к вечеру 22/XI. Пообедали в ресторане. На ночлег думали рас-

положиться в тресте «Октябрьуголь», но часов в восемь вечера приходит Гуро из Скопинского р/о НКВД и сообщает: «К Скопину подходят немцы». Проверяем сообщение, его подтверждают и предлагают нам ехать дальше на Рязск, но не по большаку, ибо есть опасность попасть в лапы немецкой разведки...

От чтения дневника Василия Родионовича мне становится грустно. Сколько здесь неприглядной трусости и мерзости! Как-то раньше и не думалось, что эвакуация людей и советских учреждений проходила так неорганизованно. Как-то терзает душу тот факт, что при отступлении, прежде всего, заботились о партактиве, о семьях начальников, которым предоставлялось первоочередное право уехать из Богородицка в далекий тыл. Но что делать — такова была жестокая правда прошедшей войны. При взятии населенного пункта фашисты выявляли в первую очередь политработников, коммунистов и членов их семей. Их тут же арестовывали, ко всем родственникам руководителей применялись репрессивные меры, все поголовно истреблялись вплоть до детей. Вот основная причина, по которой сначала эвакуировали в тыл партактив.

И еще поражает в этих записях тот факт, что даже в колонне партактива, движущейся на Рязск, были паникеры и предатели, желавшие выдать коммунистов немцам-карателям. Отчаянно и тяжело звучит мысль, изложенная в дневнике В. Р. Ребрикова: «Утром 22.11 сообщают новость — сбежали три шофера один с легковой машины «ГАЗ и два с грузовых машин, трехтонка и полуторка. Шоферы с грузовых машин свои машины изуродовали. Почти целый день возились, ремонтируя эти машины...». Поразительный по своей глупости факт. Какие двурушники: не просто советские водители, а настоящие предатели. Предположим, испугались они, захотели уйти, сбежать от немецкой угрозы. Хотя, куда бежать-то было, все равно НКВД найдет и арестует. Велика Россия — да спрятаться в ней невозможно. Вся Россия в военное время находилась под всевидящим оком Лаврентия Павловича Берия. А он предателей и их родственников люто ненавидел и тоже не щадил.

Только сбежавшим шоферам зачем надо было портить грузовые машины? Здесь уже виден не простой животный страх, а умысел. Ну как таких предателей не стрелять — они вгоняли нож в спину сражавшемуся народу. Этим предателям и расстреливали немилосердно. Вообще, в стране с июня 1941 года по 1 января 1942 года в Советском Союзе было расстреляно и выселено в лагеря около 100 тысяч провокаторов, предателей и паникеров. Или осмысливаем другую фразу Ребрикова: «17 ноября в Казановке мы уже узнали, что в Балахне повешены немецкой сволочью: Курочкин, Навольнев, Тадонов и Недосекин». Казановка — это поселок между Епифанью и Куликовым Полем. Факт скорого ареста и казни коммунистов очень удивительный. Ведь только что Ребриков 15-го ноября разговаривал с этими волевыми бойцами партии: «Дал ряд указаний товарищам, которые по заданию РК должны остаться в тылу для подпольной работы». И тут же, через сутки, фашисты схватили этих коммунистов в районе деревни Суходол, что тоже весьма непонятно. Как эти опытные товарищи так легко были захвачены врагом? Группу возглавлял заместитель председателя райисполкома Иван Петрович Тадонов, 1904 года рождения, волевой, сильный мужчина, который пользовался особым доверием первого секретаря Ребрикова. Он не раз ходил в разведку навстречу рвущемуся врагу, был осторожен и дерзок.

Иван Петрович только в ноябре 1941 года побывал в Дедилове, Узловой, Теплом и в последние дни вел разведку в Ломовке. Он очень хорошо разбирался в оперативной обстановке и отлично знал, что враг идет по пятам отступавшей 41-й кавдивизии. Он должен был быть крайне осторожным при пешем перемещении из Богородицка в Суходол. Да и другие активисты тоже были не лыком шиты. Иван Васильевич Курочкин, 1906 года рождения, работал заведующим районным земельным отделом, Василий Иванович Навольнев, 1911 года рождения, был инструктором райкома

ВКП(б), Недосекин Иван Иванович — инструктор райзо. Осторожные они были мужики и так легко в лапы врага не должны были попасть. Но попали!

Говорят, что эта четверка дошла до окраины Суходола. Там они решили спрятаться на пустой скотной ферме, зарывшись в копну соломы. На свою беду встретили скотника, который их узнал, но вначале проявил якобы участие и даже принес самогонки, чтобы коммунисты выпили для «сугрева». Ночь ожидалась холодной, и как-то выдержать ее надо было. Ну, ребята и выпили этого самогона, не подозревая в подлости скотника, и заснули крепко под свежей ржаной соломой. А скотник, этот недобитый враг, дождался поутру немцев, встретил первых мотоциклистов на дороге и заорал:

— Я знаю, где партизаны — коммунисты, сворачивайте за мной. Они в соломе прячутся на ферме. Ненавижу коммунистов, петлю им на шею всем надо набросить — все у моего отца отобрали, голым оставили. Смерть подлюкам!

Немцы окружили и тут же повязали активистов. Непростительная доверчивость привела их к трагедии. Весь день избитые и полураздетые они сидели в амбаре. Командир батальона Артур Венцель решал, как ему поступить с партизанами, и приказал:

— Амбар разобрать на бревна, виселицу поставить посередине деревни. Повесить комиссаров немедленно. Времени нет, нам надо срочно брать Епифань, там полно еды и теплых домов, где мы с удовольствием отдохнем вместе с толстыми епифанскими девками.

Но подошедший командир полка Иоханн Зельцберг отменил его приказ:

— Вы торопитесь, Венцель, вам быстрее хочется получить удовольствие для себя. Не будьте таким скрягой, Артур, хорошее представление, спектакль требует достойной публики. Это должно быть настоящее зрелище в стиле средневековой инквизиции. Генерал Лангерман в деревне Балахна разместил свой походный штаб. Завтра к нему прибывает сам генерал-полковник Гудериан, они будут обсуждать окружение Узловой и Сталиногорска. Они хотят наступить на задницу Сталина с востока. Ты давай, порадуй генералов этим необыкновенным представлением — повешением комиссаров, заодно покажешь и себя великолепным и справедливым судей-режиссером.

— Яволь, герр командир, мы будем режиссерами театра и красивой драмы для этих комиссаров. Это будет необыкновенное зрелище, генералы Лангерман и Гудериан станут почетными зрителями нашего театра. Картина выйдет незабываемой.

Наших бедных активистов на грузовике доставили в Балахну, и гитлеровцы начали сооружать в центре широкую двухступенчатую виселицу с упорами. К обеду блеклого ноябрьского дня она была уже готова, и на верхней перекладине ее болтались четыре петли из толстой шерстяной веревки. Подошедшая зондеркоманда, приданная 112-й дивизии, начала шмыгать по домам балахнинцев и сгонять людей. Собралась внушительная толпа, состоявшая из замотанных шальями баб, ковыляющих стариков и мальчишек.

Генерал-полковник Гейнц Гудериан действительно вовремя приехал на своем вездеходе в этот день к штабу генерала Лангермана. Командующий 112-й дивизией генерал Фридрих Мит деловито предложил Гудериану:

— Герр генерал, мои ребята арестовали группу очень важных местных комиссаров. Они держали в этих краях власть и издевались над народом. Надо показать населению, что власть комиссаров и коммунистов ушла навсегда в никуда, теперь власть и порядок олицетворяем мы, истинно миролюбивая и заботящаяся о простом народе немецкая нация. Гудериан не стал возражать, он знал, что без крови и насилия сильного государства не построить. Ведь Гитлер приказал всем генералам вермахта: «Мы обязаны физически уничтожить эту красную большевистско-еврейскую власть в России, не проявлять никакого снисхождения к комиссарам и коммунистам, очистить от гнусной заразы все пространство вокруг Германии». Гудериан стоял недалеко от ви-

селицы, прямой и невозмутимый, его голубая шинель была расстегнута, и красный лацкан воротничка горел на груди, как кровавое сердце. Ничто не отразилось на его лице, когда подвезли на машине замученных, забитых почти до смерти четверых мужчин. Они для Гудериана были не люди, они были околородорожной грязью, мешающей германскому блицкригу двигаться к победе. Он снял замшевую перчатку с руки, взмахнул ей, обрекая на смерть несчастных. И казнь состоялась.

Генерал Фридрих Мит деловито предложил:

— Спектакль разыгран в лучшем стиле саг о нибелунгах. Сила нормандского духа и твердости выражена достойно. Пусть все русские думают, что так будет с каждым, кто осмелится нам противостоять! Хайль Гитлер! А теперь я приглашаю вас, герр генерал, в мою походную палатку отобедать. Эта чересчур натуральная картина казни комиссаров вызвала у меня спазм и голод, хочется мяса и шнапса, — Фридрих Мит оскалился, показав ряд желтых крупных зубов.

— В этой гадкой России все плохо: плохая погода, плохой мороз, плохие дороги, плохие люди, но есть и хорошее, однако. Хороши в России крестьянские молодые курочки и петушки, их ешь со сладостью и удовольствием. Я велел солдатам сегодня отобрать у местного населения кур, и мой повар приготовил для нас рагу из молодых петухов. И отличный шнапс у меня тоже найдется! Будет много удовольствия, герр генерал!

Только после поражения Германии во II Мировой войне и Нюрнбергского процесса — суда над верховным командованием гитлеровской армии, в 1953 году Гудериан стал критиковать приказы Гитлера о применении насилия, вплоть до казни, к большевикам и комиссарам и ко всему гражданскому населению в оккупированных странах. Гудериан писал: *«Незадолго до начала войны на восток, непосредственно в корпуса и дивизии поступил приказ верховного командования вооруженных сил относительно обращения с гражданским населением и военнопленными. Этот приказ отменял обязательное применение военно-дисциплинарных законов к военнослужащим, виновным в грабежах, убийствах и насилиях гражданского населения и военнопленных, и передавал исполнение наказания провинившихся в этом солдат на усмотрение непосредственных командиров.»*

Такой приказ мог способствовать лишь разложению дисциплины. Этот приказ никогда не применялся в моей танковой группе. Другой приказ, также получивший печальную известность, так называемый «приказ о комиссарах» вообще никогда не доводился до моей танковой группы. «Приказ о комиссарах» не применялся в моих войсках.»

Примечание: «Приказ о комиссарах», официальное название: «Директива об обращении с политическими комиссарами» издан верховным командованием 6 июня 1941 года, за две недели до начала войны. Приказ предусматривал немедленный расстрел всех взятых в плен политработников Красной Армии как «носителей сопротивления». Поправ нормы права, принципы морали и традиций, этот приказ стал своего рода лицензией на безнаказанность за убийства и одновременно инструкцией к их осуществлению.

Только в 1953 году Гейнц Гудериан осознал горечь «величайшего позора», легшего на всех немцев, за их расстрелы и повешение невинных граждан без суда и следствия. А в 1941 году он не запрещал вешать и расстреливать, чем повально и занимались руководимые им войска. Гудериан присутствовал на многих казнях и приветствовал действия зондеркоманд и айнцагрупп. В его голове всегда присутствовал всепрощающий посыл: «Если об этом говорит фюрер, об обсуждении не может быть и речи».

Поговорим теперь о том, как жили и выживали богородчане под немцами в период оккупации района в 1941 году, с 15 ноября по 15 декабря. Вот здесь мне трудно рассказать что-то новое. Сам я рожден после войны, в 1948 году, в селе Михайлов-

ское Куркинского района, в Богородицке родственников не имел, и из рассказов матери (отец на фронте был) слышал только об оккупации сел Михайловское, Ростово, Коломенское и деревень Рыльское, Крамское, Покровка. Я считаю лучшим свидетелем оккупации фашистами Богородицка и Товарковского района жительницу города Введенскую Варвару Георгиевну — заслуженного учителя, поэтессу, патриотку. Она родилась в Богородицке в 1933 году в семье врача. В свои 8 лет (на начало войны) она осознала суровость лихолетья, запоминала и не по-детски анализировала события. Введенская на протяжении всей своей долгой жизни собирала сведения о зверствах фашистов и изложила записи в двух историко-литературных альманахах «Богородицкие были» и «Богородицкие были — 2».

Введенская подробно описала жизнь в Богородицке во время оккупации: черная, голодная и очень страшная. Мало того, что в ноябре-декабре и так самые короткие хмурые дни, так еще не работали электростанции. Дома круглые сутки были темны, мало кто по вечерам зажигал керосиновые лампы, чтобы не привлекать внимание немецких патрулей. Комендант города вывесил повсюду приказы о соблюдении немецкого порядка, о сдаче имеющегося оружия, о партизанах и пособничестве им. И за все нарушения полагался расстрел. Люди замерли в ожидании страшного горя и зря не ходили по улицам. Магазины все равно не работали, больница была закрыта. Мертвая стынь пошла по всему району. Начались расстрелы и казни военнопленных красноармейцев, скрывавшихся солдат, отставших от своих частей, пойманных коммунистов и руководителей предприятий.

Гитлеровцы организовали в Богородицке два концентрационных лагеря для военнослужащих, захваченных передовыми немецкими частями в боях под Узловой, Епифанью и Сталиногорском. Один лагерь был устроен в центре города, на конном дворе. Вот слова очевидца, записанные Введенской:

— Видим, по Площадной и по обочине дороги движется огромная толпа людей. Когда они приблизились, мы с ужасом поняли, что это наши пленные солдаты. Через два дома от нас конный двор. Немцы загнали туда пленных и начали бесчеловечно их бить задвижками. Раздавались страшные крики, стоны, вопли. Было жутко все это слышать, а тем более видеть. Это было так жестоко, так бесчеловечно.

Второй лагерь для военных был устроен на восточной стороне малого пруда, на центральной усадьбе свеклосовхоза. 17 ноября фашисты пригнали сюда наших пленных, примерно 300—400 человек, поместили их в клубе. Второй этаж, как говорится, был набит битком. Кормили пленных один раз в сутки. У нас на колхозном складе осталось необрушенное просо, а его, сколько не вари, все равно не разварится. Перед нашим домом небольшой пруд, пленным привозили из него воду и варили в нем просо. Этот так называемый суп разливался в хлебные формы, одну форму давали на четырех человек. Ложек не было, пили прямо из формы. Кто посильнее и понахальнее, пили больше, а слабым и вовсе не доставалось. Изможденные красноармейцы еще больше слабели и умирали. Охраняли их пять немцев, они жили тут же в лагере.

Фашисты нередко жутко развлекались: поставят банку и стреляют в нее разрывными пулями, банка разлеталась на кусочки. Но этого им было мало. Однажды вывели на улицу одного из пленных. По-видимому, это был комиссар, они решили его расстрелять для устрашения других, а может быть, просто для потехи. У нас здесь перед прудом была зигзагообразная траншея, ее вырыли в самом начале войны. Фашисты поставили этого пленного на край траншеи и три человека одновременно, по команде, выстрелили ему в голову разрывными пулями. Голова несчастного разлетелась на мелкие кусочки. А потом заставили мою мать и других женщин закопать труп в этой траншее.

В городе распоясались полиция и прислужники немцев из числа продажных русских обывателей. Нагло ходили по домам и квартирам, производили обыски, начали повсеместно конфисковывать теплую одежду и другие поправившиеся предметы. В

городе установили две виселицы, на которых вешали пойманных «партизан» и людей, у которых находили оружие, даже охотничье. По указанию полицейского партизаном мог быть назван любой сопротивлявшийся мужчина, немцы в это, не сомневаясь, верили. Приведу факт из книги В. Введенской: «Два наших деревенских прихвостня (дело было в Спасском близ Коптевки) подрядились служить немцам. Естественно, они вызывали негодование со стороны односельчан. И однажды подрались два других мужика — Миленкин Никифор и Белоглазов Герасим (не поделили что-то дураки меж собой). А тут подошли эти прихвостни, и Никифор с Герасимом стали вместе бить негодяев, оказались сильнее их, отколотили обоих. А прихвостни пожаловались немцам, что на них напали партизаны. Фашисты тут же схватили мужиков и отвезли в Богородицк. Немцы опять сгоняли народ для устрашения горожан казнью — они были зловещими психологами, не где-нибудь повесили «партизан», а прямо на месте порушенной Покровской церкви, где сейчас стоит часовня. Считали себя христианами, а на самом деле были исчадием ада. Оттого Господь и не поверил фарисейству фашистов: вскоре практически всех настигла мучительная смерть в заснеженных полях близ Епифани и Богородицка.

А зверств совершили фашисты в Богородицке, Товаркове, других населенных пунктах района большое количество. В поселке Товарковском (в то время он назывался поселком Каганович) был зверски убит знатный шахтер Дмитрий Иванович Рублев, инициатор скоростного метода проходки штреков при помощи врубовой машины. Вместе с ним фашисты замучили и расстреляли председателя профкома шахты № 20 Петра Тимофеевича Смирнова и его сына Георгия. Были расстреляны как партизаны: Дмитрий Афанасьевич Коротких, рабочий шахты № 28; забойщик Дмитрий Ашбанов. Расстреляли шахтеров Ивана Николаевича Лепнева и Ивана Георгиевича Пряхина. В Товаркове казнили комсомольцев: Мурзина Ивана, Смирнова Юрия, Абрамова Николая, Жерздева Алексея. Среди казненных были и женщины-активистки: Зуевы Фекла, Евдокия и Екатерина, Тюренкова Анна, Шишкова Елена. Погибли комсомольцы и коммунисты 5 декабря — в День Конституции, накануне наступления Красной Армии.

Немцы запрещали снимать с петель повешенных и хоронить их. В Богородицке казненные висели почти месяц, а в Товаркове чуть меньше. И генерал Гейнц Гудериан еще писал в своей книге, что он не отдавал приказы и запрещал казни мирных граждан в зоне наступления своей армии. После всех злодеяний, совершенных немцами в России, уместно задать вопросы: «А сколько виселиц поставили в Германии русские солдаты? Сколько мирных людей, не солдат, повесила Красная Армия в городах Германии? Ведь там тоже оставались идейные борцы против большевиков, они брали оружие и стреляли нашим в спину. Так почему же, имея право применять к сопротивлявшимся немцам те же методы, что и они творили в России, мы этого не делали? Не говорит ли это о том, что в душах и сердцах немцев было заложено больше животного зверства, чем у людей других национальностей, особенно у русских?».

Фашисты подвергали насилию и все сельское население района. Выгоняли из жилищ людей на мороз, отбирали скот и продукты, расстреливали людей в случае неповиновения. Богородицк был и продуктовым складом для всей 2-й танковой армии Гудериана, здесь находились провиант, снабженческие роты, транспорт. Еды фашистам не хватало, фронт требовал ее много и поэтому обозчики повально убивали крестьянский скот повсюду, во всех деревнях, и отправляли мясо на фронтовые кухни.

Вот еще примеры из записей Введенской.

Село Бахметьево. Немцы, как только пришли, стали сразу заходить в каждый дом. А если дверь была закрыта, они ее выбивали. Спрашивали яйца, мед, валенки, одеяла, шали, шапки. К нам вошли с первого раза сразу много человек. Один сразу снял с престарелой бабушки валенки. Ночевали немцы у нас редко. А чаще придут на лошади несколько человек, отберут что-нибудь из скотины и уезжают.

Село Иевлево. Дом, в котором жила наша семья, был небольшой, всего одна комната, пол земляной. В комнате русская печка и лежанка. Там разместились фашисты, спали они на полу, на соломе. Немцы были очень вшивые. Помню, они ловили на деревне кур, топили лежанку и варили суп из кур. Куры были старые и плохо уваривались. Вода выкипала, они подливали холодную. Но все равно мясо куриное было жесткое. Фашисты снимали с себя гимнастерки, усаживались вокруг стола в одних нижних рубашках, разрывали кур и этими же руками тут же за столом били вшей и ели мясо.

В деревне Крутое расстреляли девушку, носившую короткую прическу, ватник и брюки,— решили немцы, что она партизанка. В селе Папоротка был убит сын председателя колхоза, а в деревне Кашеевка расстреляли двух парней призывного возраста.

И деревня Павловка была оккупирована фашистами. Вошли немцы без боя и сразу отобрали у людей весь скот. Расстреляли двух подростков и сожгли все дома. А за что расстреляли, непонятно было — просто так, для устрашения остальных.

В село Кузовку немцы вошли в ноябре. Шли потоком через село на Товарково. На ночь селились по крестьянским избам, вели себя жестоко, убили старушку с внуками, насиловали женщин. У всех крестьян отобрали скот. При отступлении немцы сожгли более двух третей жилых домов. 15 декабря Богородицк был освобожден.

